ВЕСТНИК ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Общая тетрадь



Издание выходит раз в квартал

Редакционный совет:

А.Н. Архангельский

И.М. Бусыгина

С.А. Васильев

А.В. Макаркин

M. Мертес ($\Phi P \Gamma$)

С.В. Мошкин

Е.М. Немировская

В.А. Рыжков

Ю.П. Сенокосов

А.Ю. Согомонов

А. Хиль-Роблес (Испания)

Дж. Хоскинг (Великобритания)

Главный редактор *Ю.П. Сенокосов* **Ответственный секретарь** *С.А. Максимов* **Верстка** *Валерия Козак*

Содержание

№ 1-2 (74) 2018

Семи	нар
Будущее прошлого Дмитрий Горин Николай Эппле	5 18
Дискуссия «Плохо, если какой-нибудь глупец считается умным»:	10
революция софистов и гибель Сократа Андрей Захаров	26
Тема ном	ера
Право и три европейских кризиса: экономика, безопасность, политика Мигель Аспитарте Санчес Мигель Бельтран де Фелипе	41
Вызовы и угрозы	
И снова о «конце истории» Микаэль Мертес	62
Реформация и демокра	тия
Корни демократической жизни в этике Лютера Йон Викстрём	70
Гражданское общес	тво
Гражданское образование в контекстах мировой истории Александр Согомонов	83
Точка зре	ния
Разнообразие в универсальном Эдвард Скидельски Роберт Скидельски Дискуссия	103 113
Приблизить Европу к гражданам Натали Нугайред Дискуссия	121 125

Наши соседи

Игорь Злотников: 132 «Мир, который понимался как мир отдельных стран, закончился»

In Memoriam

Умер Ричард Пайпс Сергей Мошкин 145 Заключительные мысли Ричард Пайпс 147

Книги

Либерализм и война Андрей Захаров 148
Отсутствие новостей – дурная новость... Стив Колл 150
Контрапункт Владимир Рыжков 152

Nota bene

Действительно ли мир становится лучше? Стивен Пинкер 163

Будущее прошлого*

Дмитрий Горин: Обращение к истории в публичной сфере создает мощный символический ресурс, который проявляет себя амбивалентно. С одной стороны, обращение к прошлому может вдохновлять человека на изменение собственной жизни, укреплять доверие и нормы взаимности, создавать социальный капитал, способствовать примирению, диалогу, взаимопониманию, солидарности. И даже конвертироваться в экономическое развитие, при определенных условиях. Но с другой стороны, обращение к прошлому может провоцировать конфликты, оправдывать агрессию, вселять веру в справедливость войн, обосновывать эксцессы терроризма и превращать спонтанные всплески насилия в системное истребление одних другими. Вряд ли столь страстные споры вызывало, например, творчество «отца истории» Геродота в античной Греции. Не было подобного отношения и к историческим хроникам в средневековой Европе. Речь идет об особом феномене публичного обращения к истории, который появляется около двух с половиной столетий назад, а его разрушительная сила становится очевидной только в XX веке. В чем причины столь экспрессивного отношения к истории? И почему очевидные успехи в развитии исторической науки совпадают с продуцированием разного рода иллюзий и заблуждений по поводу исторического прошлого?

Я назвал бы несколько характеристик, объясняющих этот феномен. Прежде всего историческое мышление эпохи модерна характеризуется «исторической инверсией». Это термин Михаила Бахтина, который писал о том, что в Новое время представления о золотом веке перемещаются из мифологии, религии или каких-то форм воображения в исторические нарративы. И тем самым идеальные состояния общества, связанные с мифологией золотого века, наделяются чертами реальности так, будто они уже были в истории или должны



Дмитрий Горин, профессор Российского экономического университета им. Плеханова



Николай Эппле, независимый исследователь, журналист, переводчик

^{*} Совместная сессия на семинаре Ассоциации школ политических исследований Совета Европы 23 января 2018 г. в Оксфорде (Великобритания).

быть достигнуты в будущем. В результате история представляется как процесс, который уводит нас от этих идеальных состояний или ведет к ним. Отсюда характерная экспрессия в отношении к истории. Особенно она проявляется, когда сталкиваются разные версии истории, которые интегрируют в себе противоположные смысложизненные ценности.

Такая трансформация исторического мышления оказалась возможной в условиях особого переживания исторического времени, которое характерно для обществ модерна. Общества модерна наследуют две культурные традиции. Из античности заимствуется идея объективированного изначально пустого времени (др.-греч. хронос). Эта идея проявляется в ленте исторического времени, которую часто рисуют в учебниках истории. Разделенная на равные отрезки — года, десятилетия, столетия, изначально «пустая», она потом заполняется событиями. На эту систему кодирования исторического времени накладывается другая, которая восходит к ветхозаветной традиции. Для нее характерно чувство пророческого ожидания реализации высшего замысла в истории. Мы ждем от истории исполнения каких-то пророчеств. И поэтому чувство истории связано с ожиданием, иногда нетерпеливым и драматичным. Или, наоборот, с тоской по утраченному времени.

Как в этой системе мысли присутствует прошлое? Есть расхожий штамп, что история сохраняет прошлое. Но так ли это? История сохраняет прошлое, но в книгах, библиотеках, архивах, музеях или в специальных местах памяти. В обществах модерна история прежде всего воспроизводит различия, ее основная функция — не сохранять прошлое, а отделять его от настоящего. Современное общество — это общество динамичное, оно быстро развивается, в нем накапливаются многочисленные реликты

прошлого, с которыми что-то надо делать. Их надо както классифицировать, каких-то из них нужно освобождаться, а какие-то — сохранять путем их музеефикации или архивации. Трагический опыт XX века привносит еще один очень важный мотив работы с прошлым. Это преодоление травматичного прошлого. Оно происходит в той же логике: необходимо прилагать постоянные усилия, чтобы это прошлое осталось в минувшем и не повторилось в будущем. Тот феномен публичного обращения к истории, о котором идет речь, возникает в период формирования современной публичной сферы. История обретает публичный характер, она становится предметом общественных дискуссий. Оборотной стороной этого процесса является манипуляция публичными дискуссиями, цензура, вброс исторических фальшивок. Но в этом процессе превращения истории в публичный феномен важно понимать, что он совпадает с формированием гражданских наций как больших воображаемых сообществ. Историческая идентичность становится одним из важнейших оснований национального самосознания. Несколько позже возникает проблема классового сознания, носителями которого являются классы — большие группы людей. Классовое сознание, как о нем писали Карл Маркс и его последователи, выстраивается через обращение к истории. Поэтому история обретает форму базовых повествований — гранд-нарративов, адресатами которых выступают большие сообщества. История большой рассказ содержит большие идеи и мироустроительные проекты, лежащие в основании сложных идентичностей, которые способны интегрировать большие сообщества, а в критических ситуациях — мобилизовывать их.

Хотел бы высказать тезис, который может показаться спорным. «Большая



История», о которой идет речь и которую, возможно, следовало бы писать с большой буквы, утрачивает функции, которые она реализовывала еще несколько десятилетий назад.

Сегодня некоторые думают, что старым проверенным инструментом решать схожие задачи в новых условиях, что обращение к большим историческим нарративам, как и раньше, позволит интегрировать и даже мобилизовывать большие сообщества. Но далеко не всегда это получается: как только в публичной сфере появляется очередной большой нарратив, он не только не объединяет общество, а раскалывает его. В чем причины утраты большими историческими нарративами своих функций? Их следует искать в том глубинном общественном сдвиге, который происходит сегодня во всем мире.

Этот процесс имеет много взаимосвязанных проявлений. Прежде всего трансформация экономики. Экономика стала постфордистской: формы производства приобрели чрезвычайное разнообразие, и мы интегрируемся в производственный процесс на основе разнородных принципов. Поэтому невозможно уже, как в условиях фордизма или тейлоризма, всех выстроить в конвейерный процесс, подчинить единому ритму.

В условиях постфордизма даже самая неквалифицированная рабочая сила обретает голос. Журналисты, наверное, лучше других знают, что медиасфера заполняется сегодня болтовней. Именно потому, что изменились экономические отношения. Более того, медиасфера дифференцируется, становится многообразной. В ней помимо гранд-нарративов циркулируют разные версии альтернативной истории — истории проигравших, истории меньшинств, многообразные локальные истории и истории тех слоев, которые раньше не имели голоса. Может ли исторический гранд-нарратив, который создавался сверху, интегрировать эти многообразные нарративы, природа возникновения которых принципиально иная? Вряд ли. Меняются и основы регуляции современных обществ. Мы втягиваемся в ментальные структуры, характерные для обществ потребления. Соответственно история тоже превращается в продукт потребления. Производство — это более или менее коллективный процесс. А потребление — всегда индивидуально. История как объект потребления распадается на индивидуальные истории. Как только появляются социальные сети, становится очевидным, насколько люди любят рассказывать истории про себя. Даже те, кто не пишет, а просто выкладывает фотографии, тоже рассказывают свои истории. История становится множественной.

В результате переживаемых трансформаций меняется чувство времени. Потребление невозможно в прошлом. Оно, строго говоря, невозможно даже в настоящем времени. Время потребления — это растянувшееся «реальное время». Поэтому понятие «история» в последние десятилетия вытесняется понятием «историческая память». Память содержит то прошлое, которое присутствует «здесь и сейчас».

В результате глобальных трансформаций мы наблюдаем, как сегодня привычные исторические гранд-нарративы утрачивают свою убедительность. Но те новые формы обращения к прошлому, которые сегодня возникают, еще не заполнили публичное пространство и не получили той общественной легитимности, которая способна выглядеть убедительной. В результате этих сдвигов мы наблюдаем некий вакуум, возникший в связи с переживаемой сегодня своеобразной промежуточной ситуацией.

Этот вакуум заполняется популизмом и пропагандой, которые основываются на ностальгии по временам, когда все было понятно и предсказуемо. Французский

политолог Доминик Моизи говорил, что в разных странах распространяется культура страха. Это тоже своеобразное заполнение вакуума. Исторические гранднарративы в этих условиях возвращаться, но их природа становится другой. Они могут обретать радикализированный вид, требующий от своих адептов не знания, а слепой веры. Сегодня, например, много говорят о «традиционных ценностях», к которым необходимо вернуться. Но очевидно, что эти «традиционные ценности» являются изобретением сегодняшнего дня и они соотносятся с воображаемым прошлым, а не с тем прошлым, которое знают историки.

На что мы можем рассчитывать в этих условиях? Или каково, собственно, будущее прошлого?

Чтобы поговорить на эту тему, я позволю себе напомнить идею Дугласа Норта американского экономиста и нобелевского лауреата, который вместе со своими соавторами описывал институциональные системы, основанные на ограниченном и на открытом доступе к ресурсам. Если в обществе доминируют группы, которые господствуют, опираясь на исключительный доступ к определенному ценному ресурсу, то эти группы будут поддерживать режим ограниченного доступа к нему. В этом случае возникает очень любопытная ситуация. В условиях ограниченного доступа сам ресурс обычно понимается в логике убывающей отдачи: чем больше участников, тем меньше достается каждому. Это игра с нулевой суммой: выигрыш одного обязательно оборачивается проигрышем другого. Однако к ценным ресурсам может устанавливаться открытый доступ. И в этом случае рано или поздно возникающее насилие подчиняется демократическим процедурам, а сам ресурс начинает восприниматься в логике возрастающей отдачи: чем больше участников, тем мощнее потоки коммуникаций, шире рынки и соответственно крупнее сам ресурс.

Как это относится к истории? Если история — это значимый символический ресурс, то доступ к нему мы можем описывать в схожей логике. Например, слова «у нас история одна, и мы никому ее не отдадим», «мы никому не позволим переписывать нашу историю», «руки прочь от нашего прошлого» представляют собой маркеры ограниченного доступа к ресурсу прошлого. Интерпретация прошлого в этом случае монополизируется, а конкуренция изгоняется. Большие исторические нарративы создавались чаще всего в логике ограниченного доспупа. Именно эта логика сегодня распадается, поскольку символическое значение ограниченного ресурса прошлого в новых условиях исчерпывается.

Будущее прошлого, как я убежден, состоит в том, что мы будем учиться обращаться с прошлым в режиме открытого доступа. Будущее за проектами партисипаторной истории. Это история, которая создается общественным участием. Примеров такой истории множество. Я назову два хорошо известных. Первый — это британский пример истории округа Butetown. В старом полиэтничном рабочем районе на юге Уэльса, который был не вполне благополучным, на протяжении полутора десятилетий реализовывался проект публичной истории. Этот проект позволил интегрировать личные истории людей в истории сообщества. Там создавались новые публичные пространства, издавалась литература, накапливался социальный капитал и формировалась общая идентичность. В результате социальная среда этого района стала принципиально иной, более качественной. Второй пример связан с известным в интернет-журналистике термином «постлавинная эпоха». Этот термин произошел от публикации в 2012 году на сайте New York Times статьи о сходе мощнейшей лавины в горах в штате Вашингтон (погибло 96 человек), с которой связывается начало эпохи интерактивной журналистики. Это была открытая история, которую создавали друзья и родственники погибших, люди, связанные с происходившими событиями.

В России подобного рода примеров множество. Я назову один проект, который мне показался очень симпатичным. Я его обнаружил в лонг-листе фонда V-A-C, поддерживающего российское современное искусство. В Москве есть два жилых дома, построенных в 70-х годах в виде кольца. Их называют «дома-бублики». Когда они строились, вероятно, предполагалось, что жители этих домов будут вместе проводить время, общаться внутри круглого двора. Но современная жизнь сделала эти дворы пустыми, а жителей огромных домов разобщенными. Елена Холкина, автор проекта «Простыня», в один прекрасный день в центре круглого двора вывешивает на просушку простыни. В Москве это элемент давно ушедшей в прошлое повседневности. Поэтому сами эти простыни привлекают внимание. А потом выясняется, что на них написаны истории жителей дома, в которых есть что-то общее. Они пробудили воспоминания, люди стали больше общаться, и постепенно двор перестает быть дыркой от бублика, наполняется жизнью. Я думаю, что будущее за такого рода проектами создания истории снизу. Если мы научимся воспроизводить исторические нарративы в режиме открытого доступа, то это будет важный опыт, который позволит заново открыть наше прошлое и вступить с ним во взаимодействие в новых изменившихся условиях.

Николай Эппле: Мы с Дмитрием договорились, что он предлагает скорее теоретическую рамку темы, а я иллюстрирую ее примерами работы стран с «трудным прошлым», которые могут быть полезны для России.

Наш семинар для журналистов, и, наверное, правильно было бы начать мое выступление с замечания о том, что на тему работы с прошлым в разных странах я вышел, накопив журналистский опыт. Я благодарю присутствующую здесь Татьяну Лысову, двенадцать лет руководившую лучшей в России деловой и общественно-политической газетой «Ведомости», и отсутствующего здесь друга Школы Максима Трудолюбова, руководившего аналитическим отделом газеты, в котором мне посчастливилось работать четыре прекрасных года. Возможно, для тех, кто занимается журналистикой, важно будет знать, что работа в ежедневной газете в самые неприятные для экономики и для гражданского общества 2013-2017 годы может выводить на темы на первый взгляд не очень журналистские, а находящиеся на стыке истории, культурологии, политологии и социологии. Очевидно, это обратная сторона одержимости историей, но мы живем во времена, когда самым читаемым материалом газеты «Ведомости» на несколько недель оказывается строго историческая статья Олега Хлевнюка о Большом терроре; когда премию «Редколлегия» только в 2017 году получают сразу три материала, посвященных истории репрессий («Дело Хоттабыча» Шуры Буртина, истории о новочеркасском расстреле Даниила Туровского и о попытке сфальсифицировать историю казней в урочище Сандармох Анны Яровой); когда первый же опыт совместного мозгового штурма нескольких СМИ и «Мемориала» оборачивается двумя десятками очень сильных публикаций о сталинских репрессиях и о

памяти, в общем довольно заметно поколебавших спускаемую сверху «официальную» информационную повестку. Это важная особенность профессии журналиста: необходимо не только передавать и анализировать новости. проводить расследования, но и уметь обобщать большой и разрозненный материал, обострять ключевые для общества проблемы. В классическом «Введении в изучение филологических наук» Григорий Осипович Винокур говорит, что филологию трудно назвать в обычном смысле наукой, так как у нее нет своего материала. Ее задача «дать в руки читателю» письменный памятник, и если это трактат Аристотеля «О животных», то филолог должен уметь прокомментировать реалии зоологические. Мне кажется, в чем-то профессия журналиста близка профессии филолога (не случайно сегодня в хорошей журналистике так много людей именно с филологическим образованием): его задача — дать в руки обществу срез реальности, и если в данных условиях это требует компетенций историка, философа и психиатра, значит — это часть и профессии журналиста.

Разговор об одержимости современной России прошлым, о замене политики историей, а образа будущего образом прошлого за последние два года переместился из академических кабинетов на первые полосы СМИ. Причем, как стало хорошо видно в год 100-летия Октябрьской революции и 80-летия Большого террора, речь идет об очень избирательном обращении к прошлому. Но государству только кажется, что оно «оседлало нарратив» и рулит им, в действительности это нарратив рулит всеми без исключения. Мы не можем избавиться от преступного наследия советского периода, не похоронив трупы и не осудив совершенные преступления. Мы можем пытаться двигаться вперед,

но тогда это прошлое будет разными способами не пускать нас в будущее.

О том, как это может быть сделано, спорят с конца 1980-х. Государство не прочь мемориализировать память о жертвах, но не готово говорить об ответственности и всячески подчеркивает, что

даже настоящее исследование этой памяти больше не считается безопасной гражданской активностью, но считается политикой и представляет опасность (преследование Юрия Дмитриева). В свою очередь, наряду с установкой памятников жертвам оно

сложились институты и дисциплины, исследующие и обобщающие этот опыт в мире, — среди них, во-первых, область правосудия переходного периода (transitional justice), во-вторых, исследование истории памяти (memory studies). Но удивительным образом в России, во

Мы не можем избавиться от преступного наследия советского периода, не похоронив трупы и не осудив совершенные преступления

подчеркивает преемственность своих силовых структур, происхождение их именно от тех преступных государствено-террористических структур, на совести которых миллионы отнятых и сломанных жизней. «Мемориал» создал свой подход к преодолению советского прошлого, но возможности «Мемориала» ограничены: он способен помочь в этом обществу, но не сделать это за него. Таким образом, мы имеем довольно сложную картину, где государственная историческая политика неоднозначна и игнорирует необходимость преодолевать свое сложное наследие, а гражданское общество недостаточно сильно, чтобы предъявить свою программу. Для многих наших коллег такое положение дел свидетельство о том, что в России преодоление советского прошлого невозможно вообще — не востребовано широкими массами, невозможно ввиду менталитета, морального климата, «культурного кода» и проч.

Само предположение, что Россия в этой своей борьбе с трудным прошлым уникальна, крайне мешает. Сходные задачи за последние четыре десятилетия решали с большим или меньшим успехом десятки стран. Более того,

всяком случае в публичном поле, разговор об иностранном опыте ограничивается Германией — страной, опыт которой, во-первых, уникален, во-вторых, абсолютно неприложим к России. Эта специфическая слепота выключает из поля зрения довольно широкий возможный репертуар сценариев работы с прошлым. Он гораздо шире, чем мы привыкли думать, и основывается не на столь любимой диссидентскими и околодиссидентскими кругами модели суда, «нового Нюрнберга», над «кровавым режимом», а на модели компромиссной, олицетворяемой комиссиями правды и примирения, развернувшимися в мире с 1970-х годов, или их аналогами (кстати, в литературе по transitional justice работа «Мемориала» как раз расценивается как подготовка материала для такой российской комиссии).

Я работаю над книгой, в которой на основе анализа иностранного опыта пытаюсь описать сценарии, которые могут быть полезными для России. Сегодня приведу четыре примера этого опыта.

Аргентинская модель преодоления прошлого — один из примеров сравнительно успешного перехода от диктатуры

к пусть несовершенной, но все же демократии, совершившегося в значительной степени под давлением общества. Это пример договорной и компромиссной передачи власти от хунты (1976—1983) демократическому правительству. В условиях России, когда мы видим, что у гражданского общества нет инструментов воздействия на власть, на политику, особенно интересны механизмы такого рода принуждения власти к переоценке прошлого.

К началу 1990-х Аргентина оказывается в противоречивой ситуации. С одной стороны, общество начинает говорить о государственном терроре, долго скрывавшиеся факты выходят наружу, виновные оказываются на скамье подсудимых, а правозащитные организации обретают голос и силу; с другой — государственное руководство при молчаливом согласии значительной части общества решает остановиться на полпути и «не раскачивать лодку».

В этих условиях активная часть обначинает искать способы добиться от государства справедливости. Одним из таких способов становятся так называемые суды правды (juicios por la verdad). Лишенные законами об амнистии возможности привлекать виновных к полноценной уголовной ответственности в суде, родственники «исчезнутых» (специфический латино-американский термин, относящийся к жертвам диктатур, которых обычно тайно похищали) апеллируют к «праву на правду» как одному из прав человека, то есть праву знать, что случилось с их близкими. Отдельные судьи, сочувствующие истцам, принимают такие иски к производству, и эти процессы оказываются еще одним способом получения информации о преступлениях хунты: судьи пользуются правом вызывать и допрашивать свидетелей, обязывать вооруженные силы предоставлять засекреченные

данные, а сами военные, не опасаясь уголовной ответственности, оказываются готовы рассказать о том, о чем раньше молчали.

Другой способ привлечения виновных к ответственности «через голову государства» был изобретен организацией HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido v el Silencio — «Сыновья (и дочери) за правду и справедливость против забвения и молчания»), возникшей в 1995 году. Члены этой организации стали устраивать так называемые escraches, массовые театрализованные действия к местам, где живут или работают избежавшие наказания преступники, с целью максимально их «расчехлить». Активисты использовали музыку и пантомиму, граффити, световые и видеоустановки, транслировали на импровизированные экраны и стены домов записи судебных процессов, читали стихи и пели песни. Таким образом, гражданские акции в Аргентине обогатились элементами традиционных для местной культуры карнавальных шествий и публичных действ, добавив им силы и выразительности.

Испанская модель обращения с прошлым, возможно, наиболее близкий и важный для России пример. Главной характеристикой этой модели принято считать согласие общества забыть о былых разделениях ради сохранения единства нации, достижения гражданского мира и совместного движения в будущее. В частности, испанский пример важен как свидетельство того, что определенные темы могут зреть десятилетиями, создавая иллюзию, что прошлое благополучно забыто, но потом вдруг, отчасти благодаря смене поколений (и тут интересная параллель с Германией 80-х) выходить наружу.

В конце 1990-х — начале 2000-х на общественную и политическую сцену выходит поколение внуков участников



гражданской войны (1936-1939), выросших в условиях демократии. В гораздо большей степени, чем их отцы и матери, представители этого поколения склонны формировать отношение к болезненному прошлому исходя из представлений о праве и справедливости и в меньшей степени под влиянием страхов и стремления «не ворошить прошлое». Наиболее заметным «прорывом» такого рода стало общественное движение по установлению имен жертв франкистов и их эксгумации из братских могил. Главным эпизодом тут стало формирование ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica — Accoциация восстановления исторической памяти), деятельность которой за несколько лет буквально разбудила страну.

В 2000 году мадридский журналист Эмилио Сильва под впечатлением от поездки на деревенское кладбище, где были похоронены его родственники,

написал статью о своем деде. Эмилио Сильва-старший был казнен франкистами без суда и следствия в годы гражданской войны.

Статья имела оглушительный эффект: общественные активисты эксгумировали останки похороненных в описанной автором братской могиле, а через месяц Эмилио Сильва вместе с писателем Сантьяго Масиасом основали эту самую ARMH и сразу начали получать письма со всей Испании. Люди выражали поддержку и просили помощи в поиске близких. К концу 2005 года было произведено уже более 60 эксгумаций и найдены останки более 500 человек.

Благодаря вниманию прессы и растущей активности в Интернете региональные подразделения начали создаваться по всей Испании. К их работе привлекалось все больше специалистов — историков, археологов, антропологов. Волна эксгу-

маций обозначила конец «пакта молчания» и сыграла огромную роль в изменении отношения к прошлому. В результате в 2007 году парламент Испании принимает закон об исторической памяти, знаменующий решительный сдвиг в переосмыслении франкистского прошлого.

Другой важный испанский пример — международное взаимодействие на поле правосудия. Это очень интересно и для России, потому что международное взаимодействие в сфере защиты прав человека — это важный и сравнительно новый инструмент, потенциал которого раскрыт лишь отчасти.

16 октября 2008 года Бальтасар Гарсон, судья Верховного суда Испании, начал расследование по делу пропавших без вести в годы гражданской войны и диктатуры Франко. Дата 16 октября была выбрана не случайно — ровно за 10 лет до этого по иску того же Гарсона в Лондоне был арестован чилийский диктатор Аугусто Пиночет; этот арест стал примером успешного применения международной юрисдикции в иностранных судах. Гарсон поддержал иски 15 общественных организаций, оценив общее число «пропавших без вести» в 114 000 человек, и впервые поставил вопрос о юридической квалификации преступлений режима Франко.

В апреле 2010 года Гарсон был обвинен в превышении должностных полномочий при расследовании совершенных франкистами преступлений, поскольку на них распространяется действие закона об амнистии 1977 года. Эти обвинения вызвали многочисленные протесты в Испании и других странах, а также осуждение со стороны правозащитных организаций. В митинге в поддержку Гарсона, прошедшем в Мадриде 24 апреля, приняло участие около 100 тысяч человек. В 2012 году Гарсон был оправдан по делу о превышении полно-

мочий, но признан виновным в незаконном прослушивании телефонных переговоров при расследовании коррупции среди членов Народной партии Испании и единогласным решением Верховного суда Испании лишен права работать в суде в течение 11 лет.

В качестве реакции на попытку государства блокировать осуждение преступлений франкистов в испанском суде правозащитники решили действовать при помощи международных юридических механизмов. В 2010 году несколько испанских и аргентинских правозащитных организаций, в том числе легендарные «Матери площади Мая», вместе с лауреатом Нобелевской премии мира Адольфо Пересом Эскивелем подали иск в суд Буэнос-Айреса с требованием расследовать преступления режима Франко против человечности. На эту категорию преступлений распространяется правило универсальной юрисдикции, то есть они могут расследоваться безотносительно к месту их совершения.

Аргентина несколько раз обращалась к Испании с требованием выдачи поселившихся в Испании причастных к массовым расстрелам, но Испания все время отвечала отказом. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в 2013 году к иску присоединилась Асенсьон Мендьета (дочь расстрелянного в 1939 году Тимотео Мендьеты), специально для этого отправившаяся в Аргентину (в самолете она отметила свое 88-летие). В 2016 году в рамках расследования по ее иску суд Мадрида постановил эксгумировать останки Тимотео Мендьеты. Останки были идентифицированы со второй попытки в прошлом году, и в июле 2017 года 91-летняя Асенсьон смогла должным образом похоронить своего отца.

Этот случай стал важнейшим прецедентом. В процессе поиска захоронения Тимотео Мендьеты были идентифицированы останки еще нескольких человек —

теперь у их родных и тысяч им подобных есть обнадеживающий пример.

Я опускаю рассмотрение интереснейшего феномена культуры прощения в **ЮАР**, и в частности южноафриканской Комиссии правды и примирения (1995–2002), скажу два слова о другом — о том, как в ЮАР

строится разговор о самом понятии гражданского примирения. В ЮАР то, насколько у них «получилось» это сделать, предмет особых и до сих пор довольно ожесточенных споров. Поэтому именно исследователи южно-африканского примирения приложили довольно много

сил в попытке определить условия этого самого примирения и критерии его эффективности.

Если попытаться определить слишком широкое и многозначное понятие «примирение» в смысле социально-политического процесса, то речь идет о нескольких вполне конкретных условиях, и «развязывание узлов» между конкретными жертвами и преступниками — только одно и не самое весомое из них. Куда важнее преодоление укорененного с колониальных времен и укрепленного апартеидом разобщения между жителями страны, считающими «своими» представителей собственной расы, а потому фактически не способных брать ответственность за положение в стране в целом и считать себя в полном смысле ее гражданами. Не менее важным условием примирения оказывается и создание культуры терпимости к иным политическим взглядам и уважение к демократическим институтам и правам человека — ведь неприятие всего этого было прямым следствием почти полувековой политики сегрегации. Как сказано в отчете комиссии, «примирение требует, чтобы все южноафриканцы взяли на себя моральную и политическую ответственность за выстраивание культуры прав человека и демократии, в рамках которых социально-экономические конфликты разрешаются с должным вниманием и без применения насилия». Таким образом, примирение в общественно по-

Международное взаимодействие в сфере защиты прав человека – это важный и сравнительно новый инструмент, потенциал которого раскрыт лишь отчасти

литическом смысле означает признание всеми гражданами страны легитимности политических институтов.

В прекрасно выстроенной и аргументированной книге Overcoming Apartheid: Can Truth Reconcile a Divided Nation? (Преодоление апартеида: может ли правда примирить нацию?) Джеймс Гибсон показывает, что в той мере, в какой южноафриканское общество признало факты, вскрытые и опубликованные комиссией, отношения между членами изменились. Для выяснения степени примиренности автор разработал набор тезисов-утверждений, согласие или несогласие с которыми отражает усвоение или неусвоение правды о прошлом периода апартеида. Удобство этих утверждений, как отмечает автор, в том, что они просты (элементарны), установлены в процессе работы комиссии, не вызывают споров среди лидеров примиряемых сторон, широко разделяются если не в Африке, то международным сообществом, тесно взаимосвязаны между собой. Вот эти тезисы:

— Апартеид был преступлением против человечности. (Верно.)

- Конечно, в годы действия системы апартеида существовали отдельные злоупотребления, но идеи, лежащие в ее основе, были принципиально правильными. (Неверно.)
- Борьба за сохранение апартеида была справедливой. (Неверно.)
- И те, кто боролся за апартеид, и те, кто боролся против него, в ходе этой борьбы совершали действия, простить которые невозможно. (Верно.)
- Злоупотребления, совершенные в годы апартеида, по большей части дело рук отдельных преступников, а не государственных институтов. (Неверно.)

Мне кажется, список этих тезисов — интересный повод для размышления о том, как может выглядеть список тезисов о советском прошлом, относительно которых стоит попытаться договориться в России. Последний пример, который я хотел бы привести, касается того, что бывает, когда работа над прошлым проведена не до конца.

Тот всплеск консервативных, ксенофобских и антидемократических тенденций, который мы наблюдаем в Польше после победы на выборах осенью 2015 года партии «Право и справедливость», интересно рассматривать как опосредованный, но довольно очевидный результат невыученных уроков прошлого. Польша считается примером довольно успешного транзита от коммунистической диктатуры к демократии. Этот переход был бескровным и довольно быстро, после периода шоковых реформ, Польша начала успешно (учитывая масштаб проблем) встраиваться в Европейское сообщество.

Я не собираюсь критиковать этот транзит — нам в России не удалось ничего подобного, — но хочу обратить внимание на то, как факторы незавершенности работают в качестве мин замедленного действия. Как раз учитывая наш неслучившийся транзит, нам из России это особенно хорошо видно.

Напомню, что транзит в Польше был договорным, сохранившим коммунистические элиты в безопасности, исключившим сколько-нибудь широкую люстрацию и ответственность прежнего руководства («жирная черта» Т. Мазовецкого как аналог амнистий в Испании и Аргентине). В результате того, что коммунистические элиты комфортно устранились от власти и ответственности, а «Солидарность» вынуждена была выводить страну из экономической катастрофы, именно демократы приняли на себя все недовольство общества, и посткоммунисты обеспечили себе возможность реванша (в 1989 году рейтинг ушедшего в отставку лидера советской Польши Войцеха Ярузельского и ПОРП, польского аналога КПСС, был «ниже плинтуса», но уже в 1994 году вдвое превысил рейтинг Валенсы, а 71% поляков назвали введение в 1981 году Ярузельским военного положения оправданным, и подавляющее большинство считало, что при коммунизме было надежнее). В результате к 1995 году парламент контролировали уже посткоммунисты, а президентом стал бывший член ПОРП А. Квасневский. Напомню, что ядро партии «Право и справедливость» формировалось из радикальных антикоммунистов, не принявших переговоры в городке Магдаленка в 1989 году и «Круглый стол» в 1989-м и считавших лидеров «Солидарности» во главе с Валенсой коллаборантами и предателями. Важный тезис «Права и справедливости» состоит в том, что Третья Речь Посполитая Валенсы и Ко провалилась и нужна Четвертая. В итоге успех «Права и справедливости» с их радикальным консерватизмом и антидемократизмом оказался возможен благодаря тому, что тема борьбы с коммунистическим наследием оказалась так надолго законсервированной, что осталась топливом для политической борьбы почти тридцать лет спустя.

Второй момент, связанный с Польшей, именно из-за излишне компромиссного характера транзита И сохранения посткоммунистами морального авторитета — среди провинностей демократовреформаторов оказались и попытки пересмотра прошлого критического (включая антисемитизм, как низовой, так и государственный, а также вопросы сотрудничества поляков с нацистами). Все это оказалось маркировано как ущербная и негативная «педагогика стыда», в противовес которой начинает активно продвигаться историческая политика национальной гордости, рассматривающая критический подход к трудным страницам истории как вредящий престижу страны. Образ Польши как жертвы войны и советской диктатуры оказывается священным, и попытки критического подхода к прошлому рассматриваются как посягательство на святое. Звучат заявления о том, что история массового убийства в июле 1941 года евреев в селении Едвабна раздута; у американского политолога и историка польского происхождения Яна Томаша Гросса предлагают отобрать выданный в 1996 году Орден Заслуг перед Республикой Польша, его вызывают на допросы в прокуратуру; принимается закон, криминализующий использование выражения «польские лагеря смерти» как «попытку подорвать репутацию Польши»; фильм «Ида» (2013) П. Павликовского называется очернительством истории Польши, а устраивавшую его показы главу Польского культурного центра в Берлине увольняют за «чрезмерное внимание к

еврейской теме». Это не мелочи, а часть довольно широкой картины: напомню, что 15 ноября 2017 года Европейский парламент принял резолюцию, предполагающую начало проверки в отношении защиты Польшей европейских ценностей; итогом такой проверки может стать первый в истории ЕС случай введения санкций против одного из своих членов. Основанием для этой резолюции стали не только судебная реформа нового правительства и закон о СМИ, но также «ксенофобский и фашистский марш» в Варшаве в День независимости 11 ноября.

Таким образом, мы видим на примере последних польских событий, как консервация определенных тем, недостаточная их проработка и в итоге неготовность честно их обсуждать приводят к расколу и вражде в обществе.

Сказанное позволяет сделать, быть может, довольно очевидные, но важные выводы. Во-первых, непроработанное прошлое обязательно возвращается. Его всегда хочется забыть, избежать разговоров о нем, и это вполне естественно; но это всегда означает, что, подобно нарывам, эти темы будут подспудно и бесконтрольно зреть где-то в глубине и в один прекрасный день все же так или иначе прорвутся наружу.

Во-вторых, способность критически относиться к собственному прошлому, переоценивать его и извлекать из него трудные уроки не возникает сама по себе — это результат постоянных усилий всего общества. Более того, критическое отношение к своему прошлому и прежде всего готовность обсуждать его трудные страницы — важный критерий здоровья государства и общества в настоящем.

Дискуссия

Дмитрий Щипанов, Москва:

— Николай, расскажите чуть подробнее о «судах правды», о которых вы упоминали. Что это такое? насколько это похоже на классический судебный процесс? какими категориями права они оперируют и как обеспечивается состязательность сторон в таких спорах?

Николай Эппле:

— Это выглядит следующим образом: в Аргентине были приняты законы о том, что виновные в преступлениях времен хунты амнистируются, заводить разговор об этом в юридических категориях запрещено, привлекать к ответственности виновных невозможно. Апеллируя к праву на правду, которое рассматривается как право человека и оказывается таким образом юридическим аргументом, судьи, которые внутренне не согласны с тем, что законы об амнистии закрывают тему, начинают играть с юридической системой в своеобразную игру. Они находят лазейки, чтобы, принимая иск к рассмотрению, провести, насколько это возможно, полноценный судебный процесс. За исключением обвинения. Оказывается, можно использовать юридические инструменты, чтобы требовать, например, у военного ведомства отряжать своих военных на суд по этому иску в качестве свидетелей. Можно затребовать из архивов того же военного ведомства документы, иначе недоступные, приглашать родственников жертв, гарантируя им защиту, и так далее. Это не вполне юридическая процедура — это немного похоже на то, что делалось в рамках южноафриканской Комиссии правды и примирения, которая фактически была трибуной для оглашения фактов о преступлениях на всю страну. И эти суды оказывались площадкой, позволявшей, помимо публикаций, вскрывать новые факты, юридически их закреплять, подтверждать, что да, вот это действительно было, пострадали столько-то человек, есть данные о виновности такого-то и такого-то. Информация оказывается в публичном поле, у домов этих людей собираются акции граждан...

Иван Беляев, Вологодская область:

— Вопрос Николаю связан с раскрытием информации о прошлом, об архивах спецслужб. В бывших соцстранах создавались специальные ведомства, занимавшиеся проблемами раскрытия информации спецслужб, но с этим вопросом не все так просто. Единого подхода нет. В частности, в Чехословакии и Чехии в конце 80-х, в 90-е годы шла полемика о том, что общество никогда не гарантировано от получения неискаженной информации. Или другой пример. Совсем недавно в Литве была история с Донатасом Банионисом, когда были открыты документы КГБ Литовской ССР. В скором времени что-то похожее, видимо, будет происходить и в Украине, где начинается политика декоммунизации. В России архивные данные о тех, кто сотрудничал со спецслужбами по политическим делам и репрессиям не раскрывались, и неизвестно, когда это произойдет.

Как вам кажется, можно ли в принципе использовать эти данные, когда они будут открыты, без вреда для общества и конкретных людей? В Чехии и Чехословакии дискуссия шла о том, что информация о людях, которые сотрудничали с органами госбезопасности, может оказаться не полностью правдивой, искажена, что те, кто ее архивировал еще в прежние времена, были действительно добросовестны, как и те, кто распоряжается ею уже в постсоциалистическое время.

Николай Эппле:

— Да, это важная тема, о которой трудно говорить в общих чертах, нужно быть специалистом, чтобы оперировать фактами. Известно, что в Германии после краха ГДР было создано так называемое ведомство Гаука, институция, специально занимавшаяся хранением архивов спецслужб и регламентацией доступа к ним. Было важно, чтобы эту структуру возглавил человек, считавшийся «моральным авторитетом» для всех, — и Йоахим Гаук, правозащитник, пастор, германский Нельсон Мандела, был именно таким человеком. Процедура доступа к архивам регламентировалась около десяти лет — каким образом могут получать доступ родственники, чем права родственников отличаются от прав публики, чем права журналистов отличаются от прав публики, что можно публиковать, а с чем можно знакомиться только в частном порядке и так далее. Эта регламентация действительно очень важна, и она по-настоящему должна быть предметом широкой общественной дискуссии.

Я могу порекомендовать статьи Евгении Лёзиной, лучшего у нас специалиста по правосудию переходного периода. У нее есть отдельная статья как раз про регламентацию доступа к архивам.

И еще, отвечая на вопрос, могу процитировать интересный тезис доклада сальвадорской комиссии «Правда и примирение» о том, надо ли публиковать имена. Это крайне интересный исторический прецедент: «Можно заметить, — говорится в докладе — что, поскольку методы, используемые комиссией в ее расследовании, не отвечают требованиям формального уголовного процесса, доклад не должен называть имена людей, которые, по мнению комиссии, замешаны в установленных случаях насилия. Но комиссия считает, что у нее нет альтернативы. Заключая мирные договоры, стороны дали понять, что необходимо "сделать известной всю правду", и именно в этом состоит задача комиссии. Но сказать всю правду нельзя, не назвав имен. В конце концов, перед комиссией стояла задача не подготовить академический доклад о событиях в Сальвадоре, а описать крайне важные факты насилия и предложить меры для предотвращения их повторения в будущем. Эту задачу нельзя выполнить абстрактно, скрывая часть информации... когда доступны вполне достоверные свидетельства, особенно если установленные лица занимают руководящие посты и выполняют официальные функции, непосредственно связанные с преступлениями или сокрытием таковых.

Не называть имена значило бы обеспечивать ту самую безнаказанность, положить конец которой стороны уполномочили комиссию».

Елена Немировская, основатель Московской школы гражданского просвещения:

— Во-первых, спасибо за сессию. И вопрос, который всегда освещался Арсением Рогинским на наших семинарах...

Наша власть все же что-то делает для увековечения памяти о жертвах репрессий. После мемориального камня на Лубянке наконец появился памятник жертвам насилия. Но все-таки что-то в этом недоделано. Не сказано официально, что это государственное преступление перед своим народом. Насколько имеет смысл говорить об этом, когда в сентябре 2017 года на Сахаровском проспекте установлен мемориал жертвам массовых репрессий — «Стена скорби»?

Дмитрий Горин:

— Я думаю, эта тема очень важная. Надо принципиально разобраться, кто является субъектом публичной истории. Если этим субъектом является государство, то это одно, если общество — совсем другое. Считаю, что в проблеме проработки прошлого принципиальная роль должна принадлежать обществу. Если государство когда-нибудь признает террор преступлением, которое власть совершила против собственного народа, то сделает оно это под давлением общества. Надеюсь, что рано или поздно это произойдет. Но пока я знаю, что появился памятник Сталину на так называемой Аллее правителей в центре Москвы. Пока точка здесь не будет поставлена, могут появиться и другие... Но точка может быть поставлена, только когда проявится общественный запрос и когда голос общества прозвучит достаточно твердо и убедительно.

Николай Эппле:

— В прошлом году здесь же, в Оксфорде, я говорил среди прочего о том, что именно отсутствие осуждения советского государственного террора порождает в обществе нравственный релятивизм и огромное количество крайне болезненных и разрушительных последствий. Мы живем в ситуации, когда всем известно, что государство убивало сотни тысяч своих граждан. Все — и мы, и оно — об этом помнят и делают соответствующие выводы. Конечно же, без осуждения и всех необходимых в идеале элементов этого процесса — мемориализации, публикации широких фактов, включения в школьную программу, экскурсий в музеи ГУЛАГа и так далее. Но проблема в том, что у нас ситуация корявая и крайне далекая от идеала, и в этой корявой ситуации стоит смотреть не на соответствие идеалу, а на реальность.

Напомню, что, когда появилась идея установить мемориал, у тех, кто был этим вопросом озабочен, были две позиции. Одни говорили: режим, который продолжает политические репрессии, не может ставить памятник жертвам репрессий — это лицемерие, это нужно всячески блокировать. А другие соглашались: пусть ставят, дело хорошее. Напомню, что Арсений Рогинский разделял как раз вторую позицию. Он говорил, что до установки этого памятника у школьной учительницы, например, не было возможности



сказать детям со ссылкой на авторитет государства: советской террор был ужасом. Установление этого памятника сколь угодно лицемерное, расчленяющее эту память, использование ее в своих интересах, закрывающее эту тему и так далее, оказывается все же официальным высказыванием государства о том, что репрессии — это преступление.

Я всего два раза разговаривал с Арсением Рогинским. Я спросил его: как же так, государство пытается осуществить рейдерский захват этой темы открыли музей, поставили памятник и закрыли разговор? Он сказал с улыбкой: пусть они пытаются, тема слишком глубокая и серьезная; они думают, что захватывают ее, а на самом деле это она захватывает их. Хотелось бы на это надеяться, это достаточно авторитетный голос, чтобы к нему прислушаться.

Ольга Ирисова, Москва:

— На мой взгляд, вопрос о жертвах и палачах неизбежно приводит нас к вопросу о природе зла и здесь есть две известные теории. Бихевиористская, согласно которой человек внутренне предрасположен к злу, и разработанная социальными психологами теория о ситуативной природе зла, то есть о влиянии внешних обстоятельств на способность совершить зло. Если мы принимаем концепцию социальных психологов, то в какой момент винтик-исполнитель превращается в структуру, которая также влияет на ситуацию? Когда мы можем говорить, что этот «винтик» совершил настолько плохое деяние, что его зло уже становится тем, что влияет на ситуацию?

Дмитрий Горин:

— Думаю, что в отношении к истории есть некие универсальные тенденции, хотя эти тенденции постоянно содержат развилки. Одна из таких развилок связана с тем, насколько человек свободен в восприятии. Если он свободен, то отвечает за тот моральный выбор, который делает, отвечает за свои слова и дела. Если не свободен, то и отвечать он не может. Эта развилка отчетливо проявляется в эпоху Просвещения, когда Кант говорит о том, что исторически обоснованным должен быть именно моральный выбор, а история никак не предзадана. Человек в любой ситуации оказывается свободным. Обращение к истории позволяет человеку обосновать убедительность своего выбора. Как считал Кант, человек много чего не знает, но он точно знает, когда совершает зло. И поэтому он отвечает за свой выбор. Но примерно в то же самое время возникает другое отношение к истории. Истоки его можно увидеть у Гегеля, потом у Маркса, а в крайнем варианте — в советском обществознании, в историческом материализме. Из естествознания в философию истории привносится идея объективной закономерности. Оказывается, история подчинена этой закономерности, она ведет нас к какому-то состоянию вне зависимости от нашей воли. И что нам остается в этом случае? Мы знаем, в чем смысл истории и куда она нас ведет, но цена этого знания — отказ от личной свободы в пользу предзаданной исторической судьбы. И я думаю, что это второе понимание истории заводит нас в те тупики, выход из которых мы обсуждаем. Я убежден, что адекватная проработка прошлого возможна, если она опирается на персональную ответственность.

Николай Эппле:

— Я добавил бы, что представление о том, что человек грешен и ему нужны социальные подпорки, чтобы не падать совсем уж низко, — это один из важных тезисов политической науки. И то, о чем мы, собственно, говорим — зачем нужна культура осмысления Холокоста, на которой основывается так или иначе современная этика и политическая мораль. Это некоторая принципиальная система координат: такое не может повториться, что для этого нужно. Однако если человеку говорят, что это плохо, он открывает книжки о Гарри Поттере, а там зло успешно борется с презренными грязнокровками, добро и зло дуальны, и ему реализовывать свою склонную к греху природу труднее. Если же человек существует в ситуации, когда преступления не осуждены, когда все знают, что можно безнаказанно убивать сотни тысяч своих граждан, ему, наверное, грешить будет несколько проще.

Диана Пинто, историк, Париж:

— У меня два вопроса. Один касается Аргентины. Когда общество решает, может ли оно доверять государству или нет, оно оценивает, как государство ведет себя в настоящий момент. И с этим у Аргентины есть проблемы. Первая — убийство уважаемого, пользующегося авторитетом прокурора Альберта Нисмана, которое было сначала представлено как самоубийство. Вторая — гибель аргентинской субмарины в 2017 году, напоминающая историю с подлодкой «Курск». Аргентинское правительство в этих ситуациях повело себя так же, как поступало прежнее руководство.

Второй вопрос касается России. Прошу меня поправить, если я не права, поскольку не владею полными сведениями, но считаю, что одна из наших проблем состоит в последствиях Большого террора. По сей день живы участники тех событий, и в одной семье нередко есть и жертвы, и палачи. Так что конфликты внутри семьи, возможно, являются препятствием для разрешения конфликтов в обществе.

Николай Эппле:

— Диана, благодарю за первую коррективу. Я говорил про общество и не говорил про другую сторону. Вы правы. А теперь что касается второго вопроса. Да, действительно, это особенность российской ситуации, но мне кажется, что проблема выглядит более пугающе издалека. Она выглядит так, пока мы не занялись конкретными случаями раскапывания собственной истории. Когда публично прозвучала история с расследованием Денисом Карагодиным обстоятельств расстрела в 1938 году прадеда Степана Карагодина. российские СМИ отреагировали на это, когда уже стало понятно, что нельзя больше молчать: на центральных каналах появилось несколько сюжетов, где Дениса считали опасным для общества. Но удивительно, что история Дениса Карагодина вызвала к жизни письмо к нему внучки человека, который расстрелял его деда. Она написала ему, что узнала об участии ее деда в казни, считает это преступлением и просит прощения. Он ответил, что зла на нее не держит и был бы рад пожать ее руку.

Я наблюдаю в последние годы, как у Соловецкого камня во время чтения имен своих родственников люди не только проклинают палачей, но и все чаще взывают к Господу простить их.

Разговор об этом прошлом, и только он, на мой взгляд, открывает возможность для примирения потомков жертв и потомков палачей. И тогда оказывается, что потомок палача — не наследник палача, так как есть физические наследники, а есть духовные потомки. Духовные потомки палачей — это, строго говоря, ФСБ. Вот им этого разговора не хочется, конечно, но если мой дед расстреливал людей — это не значит, что я разделяю его идеологию, более того, напоминание мне о нем заставляет меня сформулировать свою позицию: письмо этой девушки Денису Карагодину как раз прекрасный пример того, что мы жили и у нас не было повода для этого разговора, а теперь он начался и мы можем пожать друг другу руки, потому что я осуждаю то, что сделал мой дед. Да, для меня это повод сформулировать свое отношение по поводу того, что во мне течет кровь человека, который убивал, но это не делает меня виновным и обязанным разделять его взгляды.

Дмитрий Горин:

— Я согласен с Николаем. Но позволю себе небольшое дополнение: тезис о смешении жертв и палачей и о том, что отвечают все, — это, как мне представляется, стратегия тех, кто не хочет этого разговора, попытка его блокировать. Но как только мы начинаем подходить к этой теме, работать с прошлым, ситуация меняется. У нас сегодня подобные стратегии используются и в других сферах. Например, в обсуждении коррупции. Распространяется мысль о том, что коррумпировано все общество. И если все коррумпированы, то претензии власти предъявлять не следует. Это такая стратегия защиты.

Андрей Захаров, модератор:

— Я тоже хотел бы задать вопрос экспертам. Для обострения дискуссии. Вопрос моральный и заключается вот в чем... России это не касается, но во многих странах, где действовали комиссии «Правды», перед началом транзита от диктатуры к демократии военным обещали, что их не тронут, и они сдавали полномочия гражданским демократическим властям, веря, что их не обманут. Но получается, что их обманывали. Вопрос адвоката дьявола: выходит люди, которые провозгласили своим лозунгом борьбу за правду, начали эту борьбу с того, что обманывали тех, кто совершал в свое время преступления?

Николай Эппле:

— Хороший вопрос. Во-первых, технически это не так, потому что почти во всех случаях, по крайней мере в Аргентине и Испании, первые правительства, которые начинали транзит, как раз слово держали. А вот следующие правительства, когда происходят демократические перемены и общество их начинает контролировать, часто не держат. И второй важный момент, касающийся уходящих диктаторов. Дело не в том, поверили военные или не поверили. Во время транзитов диктаторы порой попадали в такую ситуацию, что любая договоренность оказываляась для них лучшим выходом, чем виселица. Поэтому с обеих сторон это бывает не вполне легитимный договор, это компромисс на нескольких уровнях, и он всегда шаткий.

Дмитрий Горин:

— Если говорить о моральной стороне вопроса, я думаю, что человек, который выбирает зло, в любом случае не может спать спокойно, он должен понимать, что у него не может быть никаких гарантий. Он может надеяться, что ему повезет и он уйдет от ответственности, но гарантий нет.

А другой вопрос о том, какой вариант политики памяти может быть реализован в процессе транзита. Это вопрос политического решения. Здесь, наверное, договоренности могут играть значительную роль. Ведь не надо забывать, что немецкий опыт, который мы лучше знаем, но который не универсален, а уникален, отличается тем, что прошлое там прорабатывается после полного поражения режима. Другие примеры это смена режима, которая происходит внутри страны и сопровождается сложной динамикой соотношения сил. Случай Россия — это как раз такой случай, когда процесс преодоления прошлого не однонаправлен, он многовекторный и идет волнообразно. Если вы помните, в начале девяностых была попытка суда над КПСС, но от реальных действий власть отказалась. Я убежден, что к этой теме российское общество будет возвращаться постоянно, до тех пор пока не будут поставлены точки. В том числе и точка, о которой говорила Лена, когда преступление в какой-то юридической форме будет названо преступлением. Но наш путь к этому не совсем прямой, он связан со сложным процессом трансформации.

Андрей Захаров:

— Большое спасибо. Прежде чем дать слово для следующего вопроса, я хотел бы возразить Николаю, потому что очень важно, чтобы мы не впали в методологическую ошибку. Диктаторы во многих регионах мира и Латинской Америки, скорее всего, уходили не потому, что их припекло, а потому что они сами решали, что им пора сдать полномочия. Как это было, например, в Бразилии, где военные правили 21 год (1964–1985). И в этом смысле почти все специалисты по транзиту подчеркивают значимость той сделки, о которой я говорил. Диктаторы хотели получить для себя уступки

и получали их. И после этого сдавалась власть, но мы не должны думать, что, скажем, российский транзит обязательно пойдет таким образом. Может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, это важно отметить.

Александра Карпенко, Киев, Украина:

— Дмитрий, к вам вопрос. Вы говорили, что история сейчас становится множественной, что большие нарративы не являются эффективными. В таком случае как, по-вашему, может быть описано такое неоднозначное событие, как революция? как это дальше передать с учетом того, что это будет больше не гранд-нарратив, а множественная история?

Дмитрий Горин:

— Прежде всего я хотел бы сделать уточнение, чтобы избежать методологической путаницы. Речь идет о публичном обращении к истории, а не об истории как научной дисциплине. Хотя в исторической науке тоже происходят серьезные изменения. В 1970-е годы, например, сначала в Италии, потом в других странах появляется микроистория, и большие темы начинаются переосмысливаться через микросюжеты. Причем это не просто взгляд на большую историю через микросюжеты. Микроистории оказываются самодостаточными. И чтобы избежать путаницы, необходимо отделить историческую науку от научных дискуссий, в том числе по поводу событий 1917 года в России, от того как эти сюжеты функционируют в публичной сфере.

Когда я говорил о множественности и об общественных трансформациях, я имел в виду именно публичное функционирование исторического знания. Не историческая наука, а прежде всего публичная сфера подвержена тенденциям, о которых я говорил. Поэтому и отношение к революции 1917 года тоже, с одной стороны, определяется развитием этой темы в исторической науке, но с другой стороны — тем, как это представлено в публичной сфере. Кстати говоря, довольно любопытный проект был реализован в России в социальных сетях. Это проект «1917». Создается социальная сеть, «участниками» которой являются герои событий 1917 года. В этой сети появляются новости, переписка и даже видео. Профили героев ежедневно обновляются. Это подлинные документы, дневники, письма, воспоминания, архивные документы. Это не только известные события, которые описаны в учебниках, но это еще отношения между людьми, личные истории, богатая художественная жизнь, события в жизни поэтов, писателей, современное искусство, русский авангард. Вот это и есть множественная история.

Я посетил несколько научных конференций, посвященных 1917 году. Там главными спикерами были лидеры известных фракций Госдумы, которые использовали форумы для продвижения своих идеологических и политических интересов. Почему мы должны отдавать им на откуп историю нашей страны, формирование ее нарративной стратегии?



Андрей Захаров, редактор журнала «Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре», доцент факультета истории, политологии и права РГГУ

«Плохо, если какой-нибудь глупец считается умным»: революция софистов и гибель Сократа*

азговору о софистической философии целесообразно предпослать три тезиса, характеризующих место ее создателей в нашей жизни. Во-первых, софисты как представители философской школы и Сократ как ее порождение — в высшей степени современные мыслители. Я бы даже рискнул, несмотря на заношенность термина, назвать их мыслителями постмодерна, поскольку в том восприятии реальности, которое предложил нам XX век и которое столь же активно продолжает продвигать век XXI, на первом плане — зыбкость, неустойчивость, условность всех форм бытия. Нынешнему человеку как бы не за что ухватиться: мир чрезвычайно непрочен, он расползается у нас на глазах, мы пытаемся слепить его в одно целое, но он утекает сквозь пальцы1. Софистика обращала внимание именно на это обстоятельство, считая его первостепенным в определении человеческой ситуации. Вовторых, мировоззрение софистов было приспособлено к этой бытийной неустойчивости: ведь если мир не привязан к вечности, то он пластичен, а это позволяет придавать ему ту форму, какая нам нравится. Но чтобы заниматься этим, во всем, что есть вокруг, необходимо сомневаться. Сомнение как психологическое состояние адекватно нестабильности и текучести как состоянию материальному. И софисты, а после них и Сократ учили будущую европейскую культуру сомневаться. Сомнение же, как принято считать, стало двигателем прогресса. Наконец, в-третьих, сомнение — удел революционера, поскольку, чтобы сделать мир лучше, прежде нужно поставить под вопрос сами его основы. Более того, за право на сомнение надо бороться, и порой ставки в такой борьбе бывают очень высокими. Софисты, а за ними и Сократ доказывали античному полису, что жизнь диалектична и изменчива, что ее нельзя втиснуть в

^{*} Основу настоящей публикации составила публичная лекция, прочитанная автором на одном из семинаров Ассоциации школ политических исследований Совета Европы весной 2018 года.

заранее утвержденные схемы, а самое главное — что ее можно менять. Иными словами, они были преобразователями своего общества. Во всем этом — в признании И зыбкости бытия. необходимости сомневаться, и права переустраивать реальность даже вопреки мнению большинства — они очень европейские мыслители. Они стали носителями духа Просвещения еще до того, как эта великая доктрина появилась на свет. Здесь, впрочем, мне трудно быть оригинальным — об этом говорилось и прежде. Так, по словам классика, «греческая софистика, несомненно, есть греческое Просвещение. ...Софисты — это как раз типичнейшие просветители, то есть скептики, рационалисты, индивидуалисты и анархисты»². В безусловной точности такой характеристики можно будет не раз убедиться ниже.

Сомнения и мнения

Разверну эти положения, непосредственно обратившись к нашим героям. Но для того, чтобы сделать это, стоит сказать хотя бы несколько слов о контексте. С этой целью нужно мысленно отправиться в Афины V века, примерно в 430-420 годы до н.э., в так называемый золотой век афинской демократии. Незадолго до того грекам удалось невозможное: они смогли остановить персидскую экспансию, грозившую покончить с греческой цивилизацией. Первую скрипку в этом деле сыграл именно афинский Разгромив царя Дария в Марафонской битве в 490 году до н.э., а в 480 году закрепив успех в морской битве при Саламине, афиняне приобрели необычайную силу. Равная им по силе Спарта предпочитала от войны с персами воздерживаться, и потому Афины оказались доминирующим полисом в коалиции, противостоящей персам. В 478 году была учреждена Делосская лига, ставшая основой афинской гегемонии. Пригласив — или загнав силой — в свой союз множество иных полисов, как материковых, так и островных, они создали морскую империю, расцвет которой пришелся на 460–430 годы, на времена военачальника и политика Перикла. Неограниченный доступ к общирным ресурсам союзников, принуждаемых к подчинению то милостями, то силой, делал Афины неуязвимыми — или по крайней мере так казалось им самим. Торжество афинского полиса продолжалось два поколения.

Это была эпоха всестороннего расцвета. Именно тогда творили драматурги Эсхил, Софокл, Еврипид, Геродот создавал свою историю, а Фидий ваял свои скульптуры. Концентрация материальных и нематериальных шедевров на очень малой территории была невероятной. Подъем не обошел стороной и философию: именно в золотой век появились ставшие потом прославленными школы античной мысли, а также столь величественные фигуры, как Сократ и Платон. Интерес к философии в Афинах стимулировался практическими причинами, поскольку полисная жизнь была пронизана противоречиями и конфликтами; это делало популярным искусство отстаивания своей позиции, которому многочисленные странствующие философы обучали молодежь. Кроме того, процветание Афин породило спрос на то, что наш современник — американский социолог и политолог Рональд Инглхарт назвал бы «ценностями самовыражения»: молодые люди из зажиточных и знатных семей могли позволить себе проводить почти все свободное время В самосовершенствовании, занимаясь поэзией, состязались в декламации, изучая логику. Их учителя тоже были свободными людьми, старавшимися не связывать себя социальными обязательствами. Знаменитый

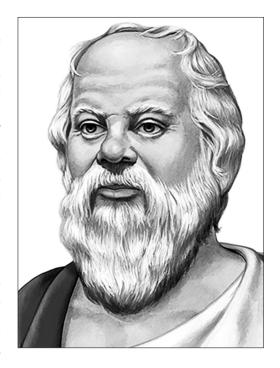
софист Горгий, например, по свидетельству современников, не имел постоянного местопребывания ни в одном городе, не делал трат на общественные дела, не был женат и не имел детей — то есть оставался свободным от «той щественной повинности, которая является самой длительной и требующей наибольших издержек»³. Да и сам Сократ, насколько известно, «сознательно избегал участия в государственной жизни, мотивируя это принципиальным расхождением своих убеждений относительно справедливости и законности с множеством "несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве"»⁴. Сосредоточимся, однако, непосредственно на софистах, поскольку именно с них начинается осознание греками форм политического и гражданского существования. Что, собственно, представляла софистика философское собой как движение? За ним стояли бродячие учителя мудрости, главным предметом преподавания которых была практическая словесность. «Софисты придавали особенное значение человеческому слову. Можно сказать, что они создали какой-то небывалый в Греции культ слова и тем самым небывалое превознесение риторики, использующей слово для разных жизненных целей»⁵. Основу риториупражнений составляла ческих большей части литература, но при этом они имели и практическое применение, ориентируясь на судебное делопроизводство. Вслед за судебным красноречием софисты начали разрабатывать принципы политического и художественного красноречия: умение красиво говорить, убедительно отвечать на вопросы, сбивать противника в споре. Например, знаменитейший софист Горгий, приходя в афинский театр, мог сказать собравшимся: «Предлагайте любую тему!» — и по заказу, без подготовки, выстраивал самую пламенную речь⁶. Он же «перенес

в политические речи поэтический способ выражения»⁷. Греки весьма ценили подобные навыки: римлянин Цицерон, позже обозревая деятельность греческих ораторов, сообщает, что софист Горгий стал елинственным из них, кому в священном городе Дельфы поставили около 420 года до н.э. не позолоченную, а золотую статую⁸. Разумеется, средой для всего этого духовного творчества выступала тогдашняя греческая реальность. Поэтому софистов очень интересовало то, как устроены современные им государство и общество, откуда проистекает нравственность, как соотносятся вещи природные, возникшие сами по себе, и вещи человеческие, созданные руками и мыслью людей. Общим фоном софистических размышлений неизменно выступали размышления о человеке.

Итак, чем запомнились софисты? Прежде всего они впервые подвергли решительной критике убеждение в том, что возможно какое-то абсолютно достоверное познание. Они активно продвигали идею субъективности человеческих оценок. В концентрированном виде позицию софистов суммировал Протагор. Этот мыслитель известен главным образом своей доктриной, согласно которой человек есть мера всем вещам. По его мнению, когда разные люди спорят между собой, не стоит искать в их суждениях объективную истину, благодаря которой один прав, а другой неправ: в таких случаях правы оба. Как свидетельствует Диоген Лаэрций, Протагор «первый сказал, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу»9. Все зависит от угла зрения: нет и не может быть ничего ценного, справедливого и прекрасного вне человека и человеческого общества. Наличие объективного знания вызывает сомнение, но зато несомненно то, что вместо него имеется множество «мнений», и все они равноценны: «Какими вещи являются мне, таковы они и суть

для меня, а какими (они являются) тебе, таковы они для тебя»¹⁰. Противоречащие друг другу суждения, говорил Протагор, будут обладать равной убедительной силой. «Разве не бывает иногда, что при дуновении того же самого ветра один из нас зябнет, а другой нет? — вопрошает один из героев Платона. — В этом случае назовем ли мы ветер холодным или не холодным, или поверим Протагору, что для зябнувшего он холоден, а для не зябнувшего — не холоден?»¹¹. Однако, столкнувшись с такой аргументацией, наблюдатель сразу же вынужден задаться вопросом: а как в таком случае быть с общеобязательными суждениями и мнениями, навязываемыми цивилизацией, в частности с правом и моралью? На чем они основываются? Протагор предлагал оригинальный ответ на этот вопрос. По его словам, истинны те мнения, которые полезны. Это фиксирует Платон: «Итак, добро есть то, что полезно людям? — Точно так, клянусь Зевсом! — отвечал Протагор»¹². Поскольку такая позиция, несомненно, подрывала господствующие в обществе правила, софисты оказывались в ситуации неизбежного конфликта с афинской демократией. Пока просто обратим внимание на эту констатацию: она пригодится нам в дальнейшем.

В чем, интересно, причина этого конфликта? Дело в том, что, отрицая всякое знание, основанное не на мнении, софисты опровергали общепринятую социальную конвенцию — и тем самым превращались в революционеров. «Там, где они появлялись, догматизм традиции был поколеблен. Догматизм держится на авторитете. Софисты же потребовали доказательства. Сами они могли сегодня доказать тезис, а завтра — антитезис. Это пробуждало мысль от догматической дремоты»¹³. Между тем демократия есть прежде всего договоренность, соблюдение процедуры, исключение произвола в широком смысле. Диалектика софистов,



напротив, поощряла свободу суждения и стимулировала произвол, поскольку в итоге своих упражнений Сократ или Горгий, например, могли прийти к самым неожиданным выводам — и, разумеется, к ниспровержению устоявшихся истин. В целом же мы вполне можем согласиться советским философом Феохарием Кессиди: «Новые учения, будившие мысль и укреплявшие авторитет знания, наносили вместе с тем серьезный удар по правовым и политическим устоям общества, подрывали традиционные верования народа, его нравственные ориентиры и ценностные установки»¹⁴. Софисты, как сказали бы сегодня, разрушали «духовные скрепы» полисного общества. Именно это делал, например, Протагор, обвиненный в нечестивости из-за того, что весьма уклончиво отвечал на вопрос о существовании богов: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет 15 . Вторил ему и учившийся у Сократа софист Критий, который «принадлежал к числу без-

божников, поскольку он говорил, что бога выдумали древние законодатели, (приписав ему роль) какого-то надзирателя за хорошими и дурными поступками (людей) для того, чтобы никто тайно не обижал ближнего, боясь наказания от богов»¹⁶. Греческий же полис строился на постоянном и вечном воспроизведении одного и того же, на повторении, на традиции: он нуждался в почитании богов, санкционировавших своим бессмертием это повторение. Софисты, однако, все неизменное, постоянное, устойчивое в социально-политической жизни объявляли фикцией. Среди прочего сомнительной им представлялась и социальная стратификация общества: поэт и грамматик софист Ликофрон, например, бывший одновременно тираном (правителем) города Феры в Фессалии, учил, что «блеск знатности в противоположность другим благам есть нечто такое, что вовсе ни в чем не проявляется, уважение к знатности основывается на одном пустом слове 17 . Понятно, что подобными рассуждениями социальные иерархии превращались в ничто. «Конструкция учения Протагора несложна, — комментирует позицию одного из виднейших софистов советский историк античной философии Алексей Богомолов. — Если вещи постоянно изменяются и в то же время доступны нашему пониманию только в этих изменениях, то подлинной формой их существования является *относительность*» ¹⁸. Вечных человеческих установлений, утверждали софисты, не бывает, как ни старайтесь; они смеялись над политиками и над их серьезностью. Как говорил Горгий, «серьезность противников следует убивать шуткой» 19. Может ли политическая истина быть незыблемой, если людей, при наличии известного навыка, можно убедить в чем угодно? Горгий, например, утверждал, что «умение убеждать много выше всех искусств,

так как оно делает всех своими рабами по доброй воле, а не по принуждению» 20 .

В конечном счете смысл конфликта софистов с полисной демократией сводился к тому, что они пытались продвигать и пропагандировать индивидуальное начало, субъективность в абсолютно не приспособленной для этого среде. Провоцируя людей к размышлениям над тем, что обычно предметом рефлексии не являлось и не могло быть, они превозносили личное познавательное усилие, дерзновение мыслить. «Индивид почувствовал себя уже не просто членом своего "цеха", а самостоятельным лицом и осознал, что все, прежде принимавшееся им на веру, должно быть подвергнуто критике, справедливо отметила Пиама Гайденко. — Субъектом же критики и последним основанием всякой достоверности он стал теперь считать самого себя как индивида. Вот это выделение индивида как самостоятельной реальности и было той почвой, на которой только и могла появиться софистика»²¹. В свою очередь, опираясь на эту площадку, можно было атаковать и само полисное устройство, включая присущие ему приниженность, второстепенность человеческой личности.

Полис зашищается

Разумеется, полисная система пыталась защищаться; именно поэтому афинская демократия подвергла Протагора, который, между прочим, начинал в качестве носильщика дров, то есть был выходцем из самых низов, судебному преследованию, сожгла его книгу «О богах» (до нас дошли только разрозненные фрагменты), а Сократа вообще предала казни. Была, кстати, и еще одна проблема: ни одна партия в Афинах не могла взять верх, не апеллируя к

«отеческим законам» и «строю отцов»; это, разумеется, мешало всяким попыткам рационально исследовать общественное устройство²². Кроме того, исторический момент, который софисты избрали для своей проповеди, был не слишком удачным. Вот как пишет об этом выдающийся эллинист Михаил Гаспаров: «Когда софисты съезжались в Афины, они думали: народу будет приятно слушать их речи о том, что незыблемых законов нет, все — дело уговора, любой закон можно и ввести, и отменить. Оказалось — нет. ...Пока афинская беднота шла к власти, ей хотелось, чтобы все мешавшие этому законы можно было отменить. Когда она достигла власти, ей уже хотелось, чтобы все оставшиеся полезными для нее законы были вечными и незыблемыми. Философы рассуждали слишком последовательно и этим были опасны. Может быть, чем меньше рассуждать, тем лучше? Не объявить ли мысль государственным преступлением?»²³.

Впрочем, такое отношение властей не препятствовало софистам считать свою работу общественно полезной, то есть видеть ее именно такой, какой она на самом деле и была. В платоновском диалоге «Протагор» есть следующий фрагмент: «Правильно ли я понимаю тебя, [Протагор]? Ты, кажется мне, говоришь о политике и обещаешь своих учеников добрыми гражданами. Вот именно, Сократ, сказал он [Протагор], это самое обещание я и даю»²⁴. Причем апологетам полисной системы «перестроечное» рвение софистов казалось особенно опасным в ситуации, когда «всякий гражданин имел право подвергать критике должностных лиц и существующие порядки, мог представить на обсуждение народного собрания проект нового закона и возбудить вопрос об отмене существующего или устаревшего»²⁵. По мере того

как конфликт между полисной демократией и философским свободомыслием обострялся, позиции софистов становились все более радикальными. Так, Критий, один из «младших» софистов, прославился уже не сомнениями в демократическом устройстве, но полным его неприятием. Энергично поддерживая спартанскую управленческую систему, он вошел в число вдохновляемых Спартой «тридцати тиранов», руководивших Афинами после проигрыша ими Пелопонесской войны в 404-403 годах. Ксенофонт рассказывает, что этот человек «был слишком склонен произволить массовые казни своих политических противников»²⁶, а когда он умер, на месте его погребения в Афинах поставили Олигархию, держащую факел и поджигающую Демократию, и сделали следующую надпись:

Памятник это мужей благородных, которые хоть ненадолго Спесь смогли укротить афинян народа проклятого²⁷.

Таким образом, софистика как политическое течение разлагалась одновременно с афинским народовластием, подтверждением чему, кстати, стала и судьба Сократа.

Здесь уместно сделать небольшое отступление, касающееся термина «софистика». В античности, как свидетельствуют источники, он не был бранным: Геродот, например, называет софистами законодателя Солона и математика-мистика Пифагора, а другие современники именовали тем же термином Сократа и Платона. Аристид, в частности, пишет, что слово «софист» «было именем, имевшим весьма общее значение», а бранный характер ему придал Платон — из-за того, что он «слишком презирал своих современников»²⁸. Именно Платон в диалоге «Софист» называет этих бродячих

мудрецов «наемными охотниками за богатыми юношами»²⁹. Закреплению этой порицающей традиции способствовал и историк Ксенофонт, согласно которому «продающих за деньги (свою) мудрость (каждому) желающему называют софистами, подобно тому, как торгующих своим телом называют блудниками»³⁰. Поносил софистов и Аристотель, видевший в них людей, «умеющих наживать деньги от кажущейся, не подлинной мудрости»³¹, и активно критиковавший этическую доктрину Сократа. Кстати, стоит обратить внимание на то, что все эти критики софистов представители аристократической партии. Более того, Платон может быть зол на Протагора и потому, что некоторые современники обвиняли его в плагиате работ последнего³². Именно враги и соперники софистов из числа аристократов повинны в том, что с середины V века слово «софист» приобрело одиозный оттенок. Основанием же этой пропаганды Богомолов называет «свойственную рабовладельческому обществу неприязнь к людям, зарабатывающим на жизнь трудом»³³. Иными словами, доставшаяся нам оценка софистики базируется на очевидной социально-классовой предвзятости.

Очень показательно отношение софистов к законодательству. Их завораживала антитеза «природы» и «искусства»: природные вещи, возникающие сами собой (physis), противопоставлялись ими вещам как продуктам деятельности людей (nomos). Платон описывает софистическую концепцию государства так: «В государственном управлении, утверждают эти люди, лишь незначительная какая-то часть причастна природе, большая же часть — искусству. Стало быть, и всякое законодательство обусловлено будто бы не природой, но искусством; вот почему его положения и далеки от истины» (Платон, Законы, X, 889d). Законы всегда противоречат человеческой природе, и из-за этого их так трудно соблюдать. Софист Антифонт по данному поводу дает следующую рекомендацию: «Человек будет извлекать для себя наибольше пользы, если он в присутствии свилетелей станет соблюдать законы, высоко их чтя, оставаясь наелине без свидетелей. следовать законам природы. Ибо предписания законов произвольны (искусственны), веления же природы необходимы. ... Многие предписания, признасправедливыми по ваемые закону, враждебны природе человека»³⁴. Опираясь как раз на эту логику, многие критически воспринимали софисты демократию, видя в ней явление, не во всем соответствующее природе. Они испытывали ту же тревогу, которая спустя тысячелетия мучила Фридриха Ницше и многих других умных людей: демократия открывает дорогу посредственности, поскольку она не признает природного неравенства человеческих особей, отрицает то, что один рождается талантливым, а другой бездарным. «Плохо, если какой-нибудь глупец считается умным», — говорил ненавидевший демократию софист Критий³⁵. Более того, у народовластия еще один порок: оно открывает дорогу наихудшим. Развивая эту тему, софист Калликл утверждал, что законы навязываются слабыми, которые всегда составляют большинство: «Стараясь запугать более сильных, тех, кто способен над ними возвыситься, страшась этого возвышения, они утверждают, что быть выше остальных постыдно и несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость стремлении подняться выше прочих» (Платон, Горгий, 483с). Впрочем, независимо от того, как мы будем трактовать справедливость — как равенство или как неравенство, — один вывод напрашивается однозначно: раз законы искусственны, то, следовательно, их можно менять. Согласно софисту Фрасимаху, «во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти» (Платон, Государство, І, 338е). Соответственно всякое социальное знание относительно. В целом же антитеза «природы» и «искусства», «рукотворного» и «нерукотворного» послужила софистам для «обоснования изменчивости общественных институтов, а следовательно, и правомерности изменений в обществе, не освящаемом более апелляцией к богам и "природе"»³⁶. Это обстоятельство позволяло некоторым специалистам провозглашать софистов родоначальниками договорной теории происхождения государства³⁷.

Интересно, что в настоящее время софистов и Сократа сравнивают с мыслителями французского Просвещения — движения, которое выступало с требованием освобождения от традиции, превратившейся в предрассудок суеверие. Поскольку его программой была свобода во всех сферах, провозглашаемая от имени разума, такой подход не лишен оснований. «Софистика истребляла все непосредственное, воевала против всего того, что жило в сознании людей без удостоверения его законности, — пишет, обосновывая его, Гайденко. — Отныне право на жительство имело только такое содержание, которое было допущено в сознание самим этим сознанием; все же, что проникло в него не этим законным путем, а через какие-то неконтролируемые сознанием каналы, то есть то, что было усвоено бессознательно, должно быть исторгнуто как недостоверное, неистинное, а потом, может быть, частично и впущено назад — после проверки. В этом состоял радикальный рационализм софистики, который роднит ее с новоевропейским Просвещением»³⁸. Действительно, в каком-то смысле Протагора можно считать духовным родственником Вольтера.

Однако, несмотря на общую правоту подобных суждений, необходимо всетаки сделать принципиальное уточнение, касающееся особенной роли софистики как общественного движения. В античной Греции просвещение, как ни прискорбно, могло быть достоянием лишь узкого круга лиц, способных платить за обучение у учителей-софистов. Перед самим же просветителем открывалась невеселая альтернатива: или ставить себя в подчинение тому, кто платит, или оставаться свободным, обрекая себя на нищенство. Однажды, по рассказу Ксенофонта, один из видных софистов, желая отнять у Сократа его учеников, обратился к нему со следующей речью, весьма примечательной в интересующем нас контексте. «Сократ, я был такого мнения, что лица, занимающиеся философией, должны бы более или менее пользоваться благополучием; между тем я нахожу, что ты от философии получаешь совершенно противоположное, — заявил этот платный учитель мудрости. — Ты живешь так, что подобным образом не стал бы жить ни один раб у своего господина, пищу и питье ты употребляешь бедные, а одежду носишь не только бедную, но одну и ту же и летом, и зимой; всегда ты без обуви и без хитона. Денег ты тоже не берешь, тогда как деньги доставляют удовольствие получателю, и тому, кто их имеет, дают возможность жить более или менее независимо и приятно. Таким образом, если ты, подобно тому, как учителя прочих предметов делают своих учеников подражателями, также настроишь и своих учеников, знай, что ты учитель злополучия»³⁹. Обнаруживаемая здесь коллизия очень показательна; отсюда, собственно, и рождается причудливое

сплетение противоречий социального существования греческих просветителей, запечатленное и их философией. Да, античное просвещение выращивалось демократией, но пользоваться услугами платного учителя мудрости (просветителя) могли только имущие — плутократы и аристократы — злейшие враги демократии. А значит, античное Просвещение, в отличие от Просвещения французского, подрывало демократию с ее принципом равенства⁴⁰.

Впрочем, это печальное обстоятельство все-таки не мешало ему оставаться Просвещением. Об этом прекрасно высказался Лосев: «История безжалостна: когда истина держится отсутствием ее критики, а мораль и быт только привычкой, то — конец и этой истине, и этому быту. Тут всегда ищите софистов, которые, разрушая старое, создают, во всяком случае, нечто новое — перевод этой истины и этого быта на язык самосознания. Так было в XVIII веке в Европе, так было и в Древней Греции к концу V века. И там и здесь если кто не возражал против старой жизни, то разве только по отсутствию достаточной образованности, ибо и там и здесь образованность была синонимом разрушения»⁴¹. А уж за деньги ли она разрушала или бесплатно — это, по-видимому, вопрос второй.

Самоубийство Сократа

По словам Богомолова, «трудно провести четкую грань между софистами, с одной стороны, Сократом и сократиками — с другой»⁴². Действительно, для историков философии безусловным остается то, что это элементы одной и той же традиции, между которыми сходства гораздо бо-

льше, чем различия. Лосев, например, говорит о том, что и те и другие представляли философию рассудочного характера, противостоявшую прежним интуитивным догадкам натурфилософов Милетской школы*, причем отрицательная дискурсия Протагора и Горгия в ней дополнялась положительной дискурсией Сократа: «Лучше говорить не о субъективности софистов и Сократа, но о дискурсивном характере их философии, противопоставляя рассудочную дискурсию как прежним, интуитивно-описательным построениям, так и последующим, ноуменально-объяснительным теориям». С учетом этого генетического сходства, продолжает Лосев, вовсе не удивительно, что «в [последующих] соратовских школах уже совсем невозможно отделить софистическое от сократовского 43 .

Но, хотя Сократ был тесно связан с софистическим движением, полностью отождествлять их тоже не Действительно, и софисты, и Сократ считали главным предметом философского анализа человека — и только человека. Но Сократ, в отличие от софистов, был убежден, что все-таки имеется нечто, объединяющее всех людей, несмотря на различия между ними. Это общее может быть выражено единым понятием, или общей идеей. То есть, по мнению Сократа, все-таки вопреки софистам существуют универсальные для всех представления о добродетели, справедливости, разумности. Заявляя об этом, он пытался восстановить более или менее твердую почву, на которой могла бы базироваться человеческая жизнь. Британский историк Пол Джонсон называет Сократа «консервативным радикалом», противопоставляя его «радикальному консерва-

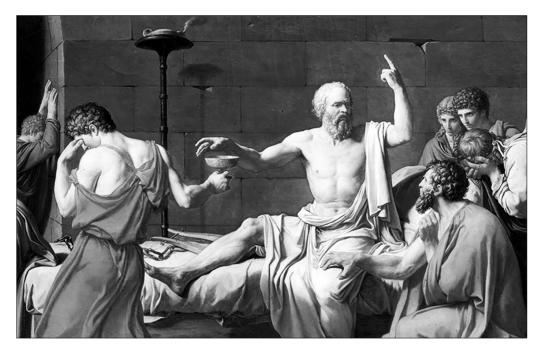
^{*} Милетская школа – первая философская школа, созданная Фалесом в Милете, греческой колонии в Малой Азии в 1-й половине VI века до н.э. – Прим. ред.

«был консервативен в том смысле, что уважал древние традиции, касающиеся богов и героев, которые почитались публикой, ибо никак не хотел лишить простых людей главных жизнеутверждающих истин сугубо из-за глупой тяги к развенчанию устаревших мифов»⁴⁵. Можно ли будет жить в мире, где торжествует полнейший субъективизм оценок и мнений? Сократу это кажется сомнительным. Но можно ли обрести некую конечную истину, навек успокаивающую человека и задающую ориентиры? В этом Сократ-радикал, в отличие от своего ученика Платона, тоже не уверен. В чем он не сомневается, так это в том, что правильные мысли и правильные поступки нужно неустанно пытаться объединять друг с другом — и тогда к человеку вернется целостность. Тем не менее утверждения о том, что Сократ «восстал против софистов» 46, едва ли основательны. Да, он повсюду пытается защищать общеобязательность нравственных понятий и этических норм, но решающая роль человеческого разума в их провозглашении и трактовке, на которой настаивали все софисты, не вызывает у него ни малейших сомнений. Разумеется, Сократ не столь агрессивен, как другие представители той же школы: если прочие софисты принуждали людей к скепсису, откровенно и жестко манипулируя ими, то он, в ходе своих разговоров, лишь мягко и скрытно подводит собеседников к сомнению: люди неизменно уходят от него обескураженными, хотя, вероятно, и не такими шокированными, как после вечера в компании Горгия. Выдающиеся софисты отнюдь не были для него врагами, он высоко ценил их, и как раз по этой причине учителя-софисты чаще представителей всех прочих профессиональных групп выступали его партнерами в поисках истины. И если учесть

тору» Платону⁴⁴. По его словам, Сократ

сложившееся между ними разделение интеллектуального труда, то это вовсе не удивительно: софистика была призвана расчистить поле человеческого мышления, выкорчевать предубеждения и предрассудки, позволяя тем самым Сократу сделать следующий шаг — подвести под расшатанный субъективизмом и релятивизмом фундамент человеческого познания новое, универсалистское, но более крепкое, нежели прежде, основание. Вот как пишет об этом Гайденко: «Софисты волей-неволей прокладывали путь к новой форме всеобщности — той, которую пытался найти ученик софистов — Сократ: они прокладывали путь к обретению такого знания, которое хотя и было бы опосредовано субъективностью индивида, но не сводилось бы к ней. Именно деятельность софистов, релятивизировавшая все предшествующее знание, положила начало поискам новых форм достоверности знания — таких, которые могли бы устоять перед судом критического сознания»⁴⁷.

Сократ все время находится в поиске, он не может успокоиться; алгоритмы его жизни не вписываются в присущие античности представления о цикличности времени, вечном воспроизведении одного и того же. Социальные структуры его эпохи в принципе предлагали свои ответы на мучившие Сократа вопросы: надо знать свое место, чутко относиться к общественному мнению, подчиняться правилам, которые устанавливает полис — этого вполне достаточно для добродетельной жизни. С необходимостью поддерживать социальное единство соглашались даже революционеры-софисты, готовые ради этого умерить критический пафос своих речей и писаний. О рациональности подобных установлений говорит, в частности, упоминавшийся выше Антифонт, современник Сократа. «Повсюду в Греции установлен закон, чтобы гражда-



Жак-Луи Давид. Смерть Сократа (фрагмент картины). 1787

не давали клятву, что они будут пребывать в единомыслии, — пишет он. — И повсюду дают эту клятву. Ведь если граждане пребывают в повиновении законам, то государства бывают сильнейшими и богатейшими; напротив, без единомыслия ни государство не может хорошо управляться, ни дом находиться в хорошем состоянии»⁴⁸. Но Сократ, которого такая логика не убеждает, не может угомониться: он бродит по афинским улицам и пристает к людям с разговорами, в ходе которых доказывает им, что мир не так прост, как кажется на первый взгляд. Софистическое искусство диалога, как и отстаиваемый софистами принцип радикального сомнения, доводится им до крайности: его рот не закрывается, а общение с собеседником неизменно превращается в публичное представление, ниспровергающее устоявшиеся мнения. Причем Сократ занимается этим сугубо из любви к искусству: сварливая жена, родившая ему сыновей, которыми он не очень интересовался, вечно попрекает его тем, что он не берет денег за свои труды по обнаружению истины. Между тем, по сообщению Ксенофонта, «в таком бескорыстии он видел заботу о свободе; а кто берет плату за свои беседы, тех он презрительно называл продавцами самих себя в рабство, так как они обязаны разговаривать с теми, с кого берут плату» (Ксенофонт, Воспоминания о Сократе, I 2, 6).

Софисты много писали; хотя нам, после погрома, учиненного в античном наследии первыми христианами, почти ничего из этого не досталось⁴⁹, мы знаем об их книгах хотя бы по названиям. Сократ же не оставил письменных трудов, и это примечательный факт; орудие его философии — диалог, непосредственный контакт с собеседником, совместный поиск истины. «Сократ говорит, что письменное сочинение не только не может воспроизвести настоящего диалога и заменить его, но даже становится преградой на пути общения

людей: ведь книгу не спросишь, как спрашиваешь живого человека, а если и спросишь, то она всегда отвечает "одно и то же"»⁵⁰. Главное в сократическом диалоге то, что истина в нем всегда проблематична, несмотря на ее кажущуюся очевидность; неизменно требуются поиск и усилие — как жаль, сокрушается Сократ. обнимающий своего собеседника в одном из платоновских диалогов, что знания не переливаются из одной головы в другую! Между прочим, в этом тотальном торжестве устной речи тоже можно усмотреть очередное софистическое покушение на конвенциональный порядок вещей: буква и письмо фиксируют устоявшиеся общественные соглашения, формализуют их и увековечивают, но Сократу, как и некоторым софистам, нерушимость конвенции не мила: устная речь для него есть свобода, письменное слово — неволя. Сократические диалоги доводят эту убежденность до крайней степени.

В отличие от софистов Сократу кажется неловким представляться «учителем мудрости», которому все известно. «Единственное, на что он претендовал, обучение искусству ведения диалога, при котором собеседник, отвечая на заданные вопросы, высказывал суждения, обнаруживая свои знания или, напротив, свое неведение»⁵¹. С собеседниками Сократ подчас обходится плохо, он ругает их, если они слишком много о себе мнят; но иногда он их и поощряет — если они искренне тянутся к истине. Помогая собеседнику разрешиться от бремени мыслей, Сократ не делает категорических выводов, обращенных к практике: его собеседник должен будет самостоятельно разбираться с этим. Сократический разговор никогда не заканчивается чем-то определенным; в этом смысле он вообще есть великая метафора интеллектуального поиска, продолжающегося для мыслящего человека всю жизнь и никогда не доходящего до конца. Но зато подобная «Болтовня» с большой буквы делает людей духовно возбужденными и интеллектуально непоседливыми: преобразуя свои мысли, они вслед за этим обретают склонность менять и свои жизни — нормализуя перемены и санкционируя их. Именно это позволило Сократу в своей судебной речи уподобить себя оводу, вечно кусающему тучного и обленившегося коня афинской демократии.

Учитывая подобные жизненные установки, неудивительно, что у Сократа, как и у многих софистов, постоянно возникали проблемы с законом и властями. Более того, по мере того как афинская политическая система под гнетом неудач злополучной Пелопонесской войны ветшала, она становилась все более нетерпимой к любой критике. Сократ, кстати, был далеко не первым и не единственным в ряду тех, кто в ту закатную эпоху подвергся гонениям за свою разговорчивость. «Приступая к демократической жизни, Афины были необычайно толерантными, но со временем свежая мысль начала пользоваться здесь все более дурной репутацией, пишет британский историк античности Беттани Хьюз в своей замечательной книге о сократической эпохе. — Примерно с 415 года до н.э. посрамленные своими военными поражениями и смущаемые чрезмерной гибкостью собственной политической системы афиняне начали давить свободную мысль. Гибель Сократа, иначе говоря, увенчала полтора десятилетия интеллектуальных и политических репрессий, проводимых полисом. Причем не стоит забывать, что Сократ стал лишь самой известной их жертвой: помимо него были десятки или даже сотни других, чьи имена не сохранились в исторических хрониках»52. Удивительным образом на семь

десятилетий, отведенных Сократу на земле, пришелся и расцвет демократических Афин; великий софист и его любимый полис и рождались, и умирали вместе.

В 399 году против Сократа было выдвинуто обвинение, в котором говорилось: «Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает город, и вводит других, новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание — смерть». Богохульство, приписываемое Сократу, имело политическую подоплеку: он не раз выступал против эксцессов непосредственной демократии, а именно критиковал выбор должностных лиц посредством жребия, в то время как в Афинах, да и в других полисах, «система замещения должностей по жребию рассматривалась как волеизъявление богов»53. По свидетельству Ксенофонта, «он говорил, что глупо должностных лиц в государстве выбирать посредством бобов, тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошибки в которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в государственной деятельности» (Ксенофонт, Воспоминания о Сократе, І 2, 9). Но Сократа, повидимому, беспокоило не только и не столько это: есть основания полагать, что он мог усматривать в подобной процедуре сущностную и фундаментальную угрозу народовластию, поскольку методом жребия властные полномочия теоретически способны достаться людям, готовым принципиально упразднить любые выборные начала. Здесь уместно напомнить, что Афины, привлекшие знаменитого философа к суду, были полисом, который незадолго до того, в 404-403 годах до н.э., пережил ужасную «тиранию тридцати», навязанную победителями-спартанцами, но

опиравшуюся при этом на народный мандат. Новый режим продержался всего год, но при нем каждый месяц в ходе бессудных расправ погибали (или «пропадали») около сотни афинян. Для истощенного бесславной и долгой войной города 1000—1500 репрессированных составляли колоссальный урон: ведь за время Пелопонесской войны и сопровождавших ее внутренних смут народонаселение Афин (не считая рабов) и так сократилось со 100 тысяч до 60 тысяч, причем мужчины составляли всего 30 тысяч человек⁵⁴.

Демократическая легитимация коллаборационистов, опиравшихся на мечи и копья Спарты и ненавидевших демократию как таковую — вспомним хотя бы неистового Крития, — не могла не ставить под вопрос сущностные особенности афинского народовластия. Сама практика убеждала думающих граждан полиса в том, что правление, в котором торжествует случай, неустойчиво и беззащитно. То обстоятельство, что у Сократа вполне могли быть подобные мысли, подтверждается рассуждениями анонимного автора трактата «Двоякие речи», написанного либо незадолго до принятия Сократом чаши с цикутой (растительный яд), либо сразу же после него. Неизвестный софист, явный последователь Протагора, полемизируя с апологетами жребия в политике, пишет следующее: «Они говорят, что (то, что они предлагают) было бы и хорошо, и очень демократично. Я же считаю это менее всего демократичным. Ибо в государствах есть люди, которые ненавидят демократию, и если бы случайно жребий пал на них, то они погубили бы демократию. Напротив, нужно, чтобы народ сам смотрел и выбирал всех преданных ему: способных на должности стратегов и других на должности блюстителей законов и так далее»55. В глазах Сократа, разделявшего, по-видимому, убеждение в том, что демократия плоха, но все остальное еще хуже, подобные резоны могли быть очень существенными.

В итоге мыслитель предстал перед судом, причем до нас в изложении Платона дошла его защитительная речь. Суд не принял во внимание доводы Сократа и приговорил его к казни. В принципе его преступления были не слишком тяжкими, и если бы Сократ попросил о прощении, то остался бы в живых. «В прасудопроизводства ктике греческих полисов было принято, чтобы обвиняемый после признания его виновным сам предлагал себе меру наказания, которую он заслуживает в собственных глазах, — пишет Кессиди. — Это право, предоставляемое подсудимому, не будучи формально апелляцией, давало возможность смягчить наказание. Оно свидетельствует о гуманности судопроизводства афинян. Суд же присяжных выбирал между (предложенными обвинителем и обвиняемым) мерами. Третий вариант исключался»⁵⁶. Сократ, однако, оскорбил судей, предложив им не покарать, а поощрить его как «человека заслуженного, но бедного и нуждающегося в досуге для назидания своих сограждан», назначив ему регулярный обед за общественный счет. Предложение выглядело как умышленная провокация: Сократ как будто специально обострял и без того непростую ситуацию. Судьи, первоначально настроенные более или менее благодушно, восприняли идею мыслителя как страшную дерзость: его обрекли на казнь.

Надо сказать, что на излете афинского народовластия и во многом благодаря «тридцати тиранам» цикута стала для городских властей очень распространенным методом завершения человеческой жизни. Однако доступен он был не всем: дело в том, что законы Афин требовали от осужденного оплатить собственную казнь, а это было по карману только богатым или благополучным людям. В отношении же неимущих применялись иные, менее эстетичные и более мучительные способы казни. Впрочем, Сократ, вопреки видимости и вечному недовольству его супруги, отнюль не был безленежным человеком. причем об этом говорит не только выбранный им дорогостоящий вариант смерти. Еще в препирательствах с судьями, отклонившими дерзкую идею мыслителя об обеде за счет городской казны, философ предложил альтернативу: он заявил о готовности выплатить Афинам внушительный штраф, сумма которого была сопоставима с заработком среднего афинянина за девять лет. Предложение отклонили, но оно тем не менее прозвучало и было зафиксировано — несомненно, обогатив наши представления о Сократе.

Как правило, смертный приговор в Афинах приводился в исполнение незамедлительно, но Сократу выпала месячная отсрочка: полис переживал религиозный период, в течение которого казни не исполнялись. Это позволило сторонникам Сократам подготовить его побег, от которого, однако, он наотрез отказался. Специалисты до сих пор тщетно спорят о том, почему он так поступил, предпочтя добровольно принять чашу с цикутой. «В нем чувствуется что-то очень непростое, очень извилистое; в сущности, он до сих пор остался непонятным, как непонятна его казнь, производящая такое впечатление, что не афиняне его казнили, а сам он заставил их себя казнить», — пишет Лосев⁵⁷. Некоторые считают этот шаг первым в истории актом гражданского неповиновения. По-видимому, правды мы никогда не узнаем, но то, что Сократ оставил нам весьма запоминающийся урок того, как гражданину надо держаться под натиском государства, это не вызывает никаких сомнений.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См., например: Бауман 3. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. С. 7–22.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики.
 Софисты. Сократ. Платон. М.: АСТ, 2000.
 С. 11.
- 3 Маковельский А. Софисты. Вып. 1. Баку: Азербайджанский государственный университет им. С.М Кирова, 1940. С. 26.
- 4 Кессиди Ф.Х. Сократ. 2-е изд. М.: Мысль, 1988. С. 29.
- 5 Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 30.
- 6 Маковельский А. Софисты. Вып. 1. С. 22.
- 7 Там же. С. 29.
- 8 Там же. С. 24.
- 9 Там же. С. 5.
- 10 Там же. С. 10.
- 11 Там же. С. 15.
- 12 Там же. С. 12.
- 13 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа, 1981. С. 204.
- 14 Кессиди Ф.Х. Указ. соч. С. 55.
- 15 Маковельский А. Софисты. Вып. 1. С. 5.
- 16 Он же. Софисты. Вып. 2. Баку: Азербайджанский государственный университет им. С.М Кирова, 1941. С. 69.
- 17 Там же. С. 4.
- 18 Богомолов А. Античная философия. М.: Издательство МГУ, 1985. С. 120.
- 19 Маковельский А. Софисты. Вып. 1. С. 45.
- 20 Там же. С. 28.
- 21 Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Университетская книга, 2000. С. 102.
- 22 См.: Богомолов А. Указ. соч. С. 111-112.
- 23 Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. 6-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 233.
- 24 Маковельский А. Софисты. Вып. 1. С. 8.
- 25 Кессиди Ф.Х. Указ. соч. С. 39.
- 26 Маковельский А. Софисты. Вып. 2. С. 59.
- 27 Там же. С. 60.
- 28 Маковельский А. Софисты. Вып. 1. С. 4.
- 29 Там же. С. 5.
- 30 Там же.
- 31 Там же.
- 32 Там же. С. 16.

- 33 Богомолов А. Указ соч. С. 110.
- 34 Маковельский А. Софисты. Вып. 2. С. 43– 44.
- 35 Там же. С. 71.
- 35 Богомолов А. Указ. соч. С. 117.
- 37 См.: Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 216.
- 38 Гайденко П.П. Указ. соч. С. 105.
- 39 Маковельский А. Софисты. Вып. 2. С. 34.
- 40 См.: Богомолов А. Указ. соч. С. 111.
- 41 Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 49.
- 42 Там же. С. 110.
- 43 Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М.: Мысль, 1989. С. 57–58, 60.
- 44 Этот автор считает, что Платон, интерпретируя мировоззрение учителя в своих диалогах, «убил Сократа вторично». О фундаментальных отличиях между философскими воззрениями Сократа и Платона см. также: Vlastos G. Socrates, Ironist and Moral Philosopher. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- 45 Johnson P. Socrates: A Man for Our Time. London: Viking, 2011. Chapter IV.
- 46 Кессиди Ф.Х. Указ. соч. С. 150.
- 47 Гайденко П.П. Указ. соч. С. 104.
- 48 Маковельский А. Софисты. Вып. 2. С. 48.
- 49 Примечательные описания безобразных деяний первых христиан в отношении античной культуры см. в работах: Freeman C. The Closing of the Western Mind: The Rise of Faith and the Fall of Reason. New York: Vintage Books, 2005; Nixey C. The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World. London: Macmillan, 2017.
- 50 Кессиди Ф.Х. Указ. соч. С. 59.
- 51 Там же. С. 62.
- 52 См.: Hughes B. The Hemlock Cup: Socrates, Athens and the Search for the Good Life. New York: Alfred A. Knopf, 2010. Chapter 42. О том же пишет и Пол Джонсон: Johnson P. Op. cit. Chapter VI.
- 53 Кессиди Ф.Х. Указ. соч. С. 38.
- 54 См.: Hughes B. Op. cit. Chapter 49.
- 55 Маковельский А. Софисты. Вып. 2. С. 99.
- 56 Кессиди Ф.Х. Указ. соч. С. 178.
- 57 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 57.

Право и три европейских кризиса: экономика, безопасность, политика*

3. Кризис безопасности

3.1. Конституции и новое насилие

История современных демократий и конституционного права есть история удивительных начинаний и достижений, история превращения систем правления, основанных на насилии и принуждении, в мирные сообщества, где власть опирается на четкие правила — демократические правила. Верховенство права означает прежде всего то, что власть упорядочивается, ограничивается и легитимируется правовыми нормами, а не насилием, господством или тиранией. Современное конституционное государство стремится контролировать социальные противоречия, регулируя их посредством социальных и политических структур. Его сложная природа и предназначение исключают суверенное и силовое доминирование отдельных страт, социальных групп и классов (феодалов, церкви, монарха, военных, землевладельцев, банкиров, бюрократов, рабочих и пролетариев и т.п.), предоставляя государственным органам монополию на легитимное применение силы в соответствии с законом и при условии строгого соблюдения прав человека.

Теракты 11 сентября 2001 года в США и их трагические отголоски в Мадриде, Лондоне, Париже, Брюсселе и Барселоне — и это только Европа! — породили новый для конституционного государства тип насилия: насилие хаоса. У него есть несколько особенностей. В противовес насилию, совершаемому, например, такими группировками, как «Ирландская республиканская армия», «Красные бригады» или баскская ЭТА, оно не имеет четких или достижимых политических целей. Иначе говоря, в отличие от насилия, присущего гражданским или межгосударственным войнам, деятельно-



Мигель Аспитарте Санчес (Университет Гранады, Испания)



Мигель Бельтран де Фелипе (Университет Кастилия-Ла Манча, Испания)

^{*} Окончание. Начало см.: Общая тетрадь, № 3–4 (73), 2017. — С. 53–64.

сти националистических или экстремистских группировок, новый тип насилия используется не для того, чтобы реформировать политические институты или сменить режим. Культурные корни, если можно так выразиться, этой разновидности насилия в том, что оно подрывает веру в состоятельность конституционного государства в гарантировании важнейшего из общественных благ — безопасности. С нашей точки зрения, вполне очевидно то, что тип терроризма, родившийся 11 сентября 2001 года, олицетворяет собой кризис западных, и, наверное, не только западных, демократий. Эта дата положила конец десятилетиям спокойствия и мира в западных обществах. Традиционный европейский уклад, предполагающий наличие демократических, богатых, не знающих страха и конфликтов политических систем, похоже, остался в прошлом. Некоторые ученые, например Хантингтон и другие, разрабатывавшие теорию конфликта культур, попытались в этом контексте обнаружить взаимосвязь между новым насилием и тем, что они называют столкновением цивилизаций.

3.2. Личные данные и превентивные действия государства

Терроризм, как представляется, вызвал изменения в самом нашем публичном дискурсе. В то время как вопрос о силовом ответе и противостоянии террору почти не обсуждается (хотя наблюдается общая тенденция к расширению полномочий полиции и армии при одновременном сокращении объема прав обвиняемых и прав человека в целом), приоритет отдается профилактическим мерам. Считается, что лучшим способом борьбы с терроризмом выступает сбор информации и управление большими массивами данных (big data). Накопление и обработка данных в настоящее время стали одним из самых действенных инструментов борьбы с террором и иными серьезными преступлениями типа незаконного оборота наркотиков или отмывания денег. Разумеется, конфиденциальность является — или должна быть — пределом, который не должен нарушаться должностными лицами государства, занимающимися обработкой данных и их управлением. Но, используя Интернет, социальные сети и прочие веб-ресурсы, мы фактически добровольно поступаемся конфиденциальностью или отказываемся от нее. В результате некоторые обыденные практики — отправка электронной почты или сообщений в WhatsApp, бронирование авиаперелета, платеж по кредитной карте — становятся открытыми как для властей, так и для крупных корпораций (Google, Facebook, Apple, Amazon, Skype и других). В конечном счете все это, на законном основании или без такового, может использоваться для получения информации о нашем прошлом, настоящем и будущем. Большие данные и персональные данные стали исключительно важными для предотвращения террористических актов и борьбы с терроризмом, но одновременно они породили новую форму шпионажа и разведки, причем пока не ясно, насколько эта форма совместима с некоторыми фундаментальными правами.

Здесь есть еще одна проблема. Фундаментальные права были задуманы как область, защищенная от вмешательства государства, но теперь обес-

печение прав, гарантирующих неприкосновенность частной жизни, ставится под сомнение еще и телекоммуникационными компаниями — «частными сверхдержавами», которые предоставляют нам интернет-услуги и присутствуют в нашей жизни повседневно. Так называемое право на забвение*, не упомянутое напрямую Европейским союзом в Регламенте о защите данных, но признанное Европейским судом в 2014 году в решении по делу Costeja v. Spain, заставляет задуматься о том, что гарантировать ключевые аспекты конфиденциальности при наличии огромного объема информации, доступной в Интернете, в высшей степени сложно.

Наконец, нам приходится размышлять над тем, как пользоваться всем этим информационным массивом. Если, предположим, француз или испанец пару раз в год посещает Сирию или Афганистан, то является ли это основанием, чтобы подозревать его в терроризме? Изменится ли ситуация от того, что он не станет покидать ЕС, но будет частым гостем в населенном арабами брюссельском районе Моленбек, где, как предполагается, были разработаны планы некоторых терактов? Самое обычное поведение, такое как передвижение (которое также является основополагающим правом), порой начинает восприниматься органами полиции и средствами массовой информации как «подозрительное». «Профилактические» действия полиции и «превентивные» войны (причем санкционированные ООН), основанные на больших данных и сборе информации, трудно совместить с конституционными традициями и фундаментальными правами. Но, кажется, от них уже не откажутся.

3.3. «Нормализация» исключений и милитаризация политического дискурса

Зачастую реакцией на террористическое событие становится корректировка законодательства, нацеленная на совершенствование инструментов расследования и ужесточение наказаний за преступления такого рода. В результате полномочия правительств и полиции расширяются, а фундаментальные права ограничиваются. Прообразом для подобных изменений служит стандартная правовая конструкция чрезвычайного положения, закрепленная, например, в статье 4 Международного пакта о гражданских и политических правах или статье 15 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но в нынешних случаях отсутствуют оговорки, касающиеся двух отличительных признаков чрезвычайного положения: его временного характера и специального обоснования его введения. Когда меры, регламентирующие чрезвычайное положение, становятся частью ординарного законодательства, оно перестает быть чрезвычайным и с технической точки делается «нормальным». Это вполне соответствует стремлению государств оправдать применение чрезвычайных мер в любой момент и в любой ситуации, то есть отказаться от такой характеристики чрезвычайности, как ограничение во времени.

^{*} Право человека потребовать при определенных условиях удаления своих персональных данных из общего доступа через поисковые системы. — Прим. ред.

Иначе говоря, вопросы, связанные с обоснованием чрезвычайных ситуаций и их регулированием, отодвигаются на задний план. Рассмотрим несколько примеров.

В 2000 году Великобритания приняла Акт о терроризме, согласно которому исключительные меры, направленные на борьбу с ирландским терроризмом, стали постоянно действующими на всей территории страны. После атак 11 сентября все эти меры были включены в Акт о безопасности, борьбе с терроризмом и преступностью 2001 года, который допустил задержание без решения суда в отношении некоторых категорий неграждан, подлежащих депортации по соображениям национальной безопасности. Норма о задержании без решения суда означает, что Великобритания частично отступила от соблюдения права на свободу и личную неприкосновенность, гарантированного статьей 5 Европейской конвенции. Согласно указанной статье, каждому задержанному должно быть предъявлено обвинение, а его дело должно быть рассмотрено судом в кратчайший срок (в соответствии со статьей 15 того же документа отступление от обязательств, установленных Конвенцией, возможно только в случае войны или «иных чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни нации»). Фактически Великобритания объявила о введении на всей территории страны чрезвычайного положения, ранее действовавшего только в Северной Ирландии, и приостановила защиту некоторых прав, гарантированных Европейской конвенцией. После ожесточенных юридических баталий (в 2005 году Верховный суд в решении по делу Belmarsh постановил, что сама возможность производить задержание является нарушением допустимых пределов отступления от положений Конвенции, которые установлены в той же статье 15, требующей объективного обоснования для такого отступления) британский парламент принял Акт о предупреждении терроризма 2005 года, явно нацеленный на обход мнения судей. Несмотря на незначительные ограничения, у правительства появилась возможность задерживать подозреваемого в терроризме на неопределенный срок без предъявления обвинения, что, по мнению многих специалистов по правам человека, противоречит Европейской конвенции, причем как в «нормальных», так и в «чрезвычайных» обстоятельствах. Кроме того, недавно премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о новом пакете антитеррористических мер, позволяющих вести слежку за подозреваемыми в терроризме. Если Brexit повлечет за собой выход Великобритании из Европейской конвенции, то ее правительство, ограничивая фундаментальные права ради борьбы с терроризмом, будет чувствовать себя гораздо вольготнее.

В последние два года Франция тоже находится в состоянии «чрезвычайного положения», которое было введено после террористических атак в ноябре 2015 года. В последний раз формальным основанием для его продления стало проведение гонки Тур де Франс. 18 октября 2017 года был принят новый антитеррористический акт — Закон об усилении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Документ нацелен на то, чтобы интегрировать в «обычное» законодательство ряд мер, которые прежде применялись только в условиях чрезвычайного положения.

Например, речь идет о закреплении за полицией таких полномочий, как права закрывать мечети или иные религиозные учреждения при наличии подозрений о том, что они участвуют в пропаганде насилия (в нормальной ситуации такое решение может быть принято только судом), запрещать подозреваемому покидать город или регион, обыскивать жилища без предварительного получения ордера (обыски такого типа именуются в законе «визитами»). В перечисленных случаях судебный контроль осуществляется постфактум или отсутствует вовсе — полиция информирует не судью, а прокурора. То есть теперь полиция просто сообщает судье о том, что в отношении того или иного лица возможно применение «индивидуальных мер административного контроля и надзора», или информирует прокурора (но не судью) о том, что упомянутые меры будут применены. Таким образом, уведомление о проведении полицейских мероприятий, для которых раньше требовался ордер, теперь будет направляться прокурору в рабочем порядке, а судье — по факту. Продвигая новый закон, президент Макрон явно хотел ввести перманентное чрезвычайное положение. Кстати, для США подобным законом стал Патриотический акт, принятый после 11 сентября 2001 года. Уместно, однако, отметить, что не все страны, пострадавшие от терроризма, решились на укрепление своего правового арсенала за счет ограничения основных прав личности. В Испании после террористических атак 2004 года в Мадриде, ставших самым смертоносным терактом в Европе, социалистическое правительство во главе с премьер-министром Сапатеро пыталось бороться с исламским терроризмом посредством уже действовавшего на тот момент антитеррористического законодательства, которое показало себя довольно эффективным в борьбе с баскскими экстремистами.

Возможно, в некоторых странах борьба с терроризмом стала лишь предлогом для введения мер, направленных на ужесточение контроля над обществом, преследование (в том числе и судебное) политических противников власти и поддержание авторитарного курса. По этому пути пошла, например, Россия, пострадавшая от чеченского терроризма. Антитеррористические законы Турции, в которые на фоне общей нестабильности в регионе и курдских террористических атак неоднократно вносились поправки, оперируют самыми общими формулировками и содержат расплывчатое определение терроризма. Из-за этого в разряд «террористических преступлений» попадает широкий спектр деяний, включая некоторые проявления свободы слова и гражданского активизма — причем, судебный контроль в этой стране слаб, а право на получение адвокатской помощи тоже ограничено. После попытки государственного переворота в 2016 году эти законы активно применялись для обоснования задержания и тюремного заключения большого числа людей (включая журналистов и правозащитников), что, впрочем, вызвало со стороны Европейского союза лишь вялый протест.

В совокупности все вышеперечисленное стало своеобразной «новой нормой», при которой терроризм и жесткая государственная реакция на него выступают чем-то вполне обычным; именно такова ситуация, в



Брайс Марден. Без названия. 1982

которой сегодня вынуждены жить граждане западных и многих других стран. Очевидно, что во Франции и Великобритании это упрощает применение чрезвычайных мер. Ведь если должностным лицам доступны экстраординарные механизмы, у них может появиться соблазн использовать их при возникновении малейших подозрений, не прибегая к иным возможностям расследования и игнорируя вопрос о соразмерности используемых мер совершенному деянию. Разумеется, во многом такое положение объясняется тем, что в континентальной Европе терроризм не является таким же повседневным преступлением, как убийство или кража. Но при этом «война» с террором, которую провозгласил президент Буш — не просто невинная фигура речи, ибо в военное время законы гражданского времени, в том числе уголовные, не применяются. (Именно это объясняет некоторые решения о выдаче преступников, лега-

лизацию методов допроса, предполагающих пытки, ситуацию с заключенными в Гуантанамо.)

Мы не критикуем, за некоторыми исключениями, повышенные меры безопасности как таковые. Очевидно, что видеонаблюдение на железнодорожной станции или массовое присутствие на ней охранников может дать ощущение спокойствия и безопасности. Столь же бесспорно и то, что новые угрозы заставляют пересматривать правовые основы политики безопасности. Но одновременно чрезвычайные меры приводят к формированию чисто символических и откровенно безосновательных связей между определенными фактами или определенными людьми и восприятием угрозы. Например, исламский терроризм имеет под собой явную религиозную основу, и поэтому люди порой испытывают страх из-за внешних проявлений приверженности этой религии, в частности из-за предписываемой ею одежды. Вспомним, что происходило с испанскими мечетями после теракта в Барселоне в августе 2017 года или об административном запрете так называемых буркини на пляжах юга Франции летом 2016 года (в итоге, кстати, их запрет был отменен судом).

Все упомянутые явления имеют еще более глубокое измерение, связанное с общей милитаризацией политического дискурса. Использование таких терминов, как «война с террором» или «враг», обусловлено очевидным намерением упростить реальность, создать сценарий, в котором законная защита от агрессора становится предлогом для превентивной войны или ограничений основных прав, недопустимых в «обычной» ситуации. Милитаристская риторика, сокращение пространства общественной дискуссии и оскудение политического дискурса порождают соблазн изобразить в качестве друга террористов любого, кто не согласен с экстренными мерами или предупреждает об угрозе нарушения фундаментальных прав. В таком контексте критика политики безопасности зачастую квалифицируется как слабость, нарушение условий антитеррористического консенсуса или, еще хуже, сотрудничество с террористами.

Трудно предугадать, каковы будут последствия кризиса в сфере безопасности, какой окажется ситуация с правами человека, что произойдет с ролью силовых структур, которые по-прежнему подчиняются гражданской администрации в лице президентов и премьер-министров, но после терактов 11 сентября стремительно наращивают свое политическое влияние. Так же сложно предвидеть, какой будет роль закона и конституции: впишется ли право в тот порядок, к которому стремится власть, подчинившись логике борьбы с террором, или оно останется средством защиты прав человека от покушений даже в тяжелые времена? Пока, как не трудно заметить, баланс смещается в сторону подчинения логике войны. Ключевой здесь оказывается роль судебной системы: независимый суд способен следить за тем, правомерно ли ведут себя силы правопорядка, и гарантировать разделение властей. Разумеется, силовиков крайне сложно держать под контролем в тех странах, где судебная система до конца не сформировалась или где отсутствует традиция независимого суда: в данной связи уже упоминались Россия и Турция, но можно найти и другие примеры — например, в Северной Африке или посткоммунистических странах. Даже там, где верховенство права давно укоренилось, а суд действует независимо, обнаружились колебания. Мы говорим, во-первых, о США, где Верховный суд не нашел оснований для признания неконституционности эксцессов Патриотического акта и ситуации в Гуантанамо, а также о Европе, где некоторые решения Европейского суда по правам человека и Совета Европы в отношении России и Турции оказались не слишком строгими, оставляя разрешение вопросов о нарушении в них прав человека и полномочиях полиции на усмотрение самих этих государств. В данном ряду стоит также упомянуть о некоторых делах ЕСПЧ против Великобритании и Ирландии в связи с терроризмом «Ирландской республиканской армии», а также о санкционированных британским парламентом после 11 сентября возможностях внесудебного ареста и содержания под стражей даже при отсутствии явной и очевидной угрозы общественной безопасности.

4. Политический кризис

4.1. Новые конфликты, старые методы разрешения

После окончания Второй мировой войны основной задачей конституционализма стала реорганизация европейских обществ, которые с начала XX века переживали масштабные и трагические потрясения. Вплоть до 1939 года сохраняла свою значимость дилемма «демократия диктатура», поскольку на тот момент по меньшей мере треть населения Европы проживала под властью недемократических режимов. В конституциях последующих лет — Германии 1949 года и Италии 1947 года, Португалии, Испании и Греции, принятых в 1970-е годы после падения диктаторских режимов, а также бывших коммунистических государств, появившихся в 1990-е годы, — в качестве основ государственного строя вновь утверждались демократия, верховенство права, социальный и политический плюрализм, а также — с учетом особенностей их прошлого — запрещалась фашистская или коммунистическая идеология. Новые конституции, призванные нейтрализовать или разрешить вооруженные, социальные и политические конфликты, успешно справились с этой задачей. Новаторским и даже революционным инструментом, без которого достижение поставленной цели было бы невозможным, стала идея общественной и политической свободы. Конституции послевоенного времени трансформировали традиционные либеральные государства в государства всеобщего благосостояния: теперь политические права и свободы, воспринимаемые как область, закрытая для вмешательства публичной власти, перестали быть эффективным инструментом по предотвращению конфликта. В государстве всеобщего благоденствия, появившемся после 1945 года, публичная власть открыто действует в целях воплотить в жизни идеалы равенства и свободы.

На сегодняшний день, однако, идея предотвращения классового конфликта и предпринимаемое ради этого публичное вмешательство в

жизнь общества, типичные для государства всеобщего благосостояния, практически выпали из политической жизни и публичной политики европейских государств. Сказанное вовсе не означает, что проблема неравенства на Западе утратила актуальность, но для нас очевидно то, что после падения Берлинской стены в 1989 году и до начала кризиса 2008 года социальный (и военный) конфликт в общественном восприятии европейцев перестал быть проблемой первостепенной важности. Отчасти это следствие успехов самого государства всеобщего благосостояния. После десятилетий активной социальной политики и массированного перераспределения благ темы классовой борьбы и общественного неравенства практически ушли из политического дискурса, перестав волновать большинство граждан. Проблема равенства исчезла из политической повестки XXI века после так называемого великого умиротворения. Крах коммунистических режимов стал воплощением идеологического триумфа капитализма, или, как писал Фукуяма, «конца истории», и подтолкнул развитие свободного рынка и глобализации. В Европе результатом «великого умиротворения» стали сообщества, которые вплоть до 2008 года отличались непрерывным экономическим ростом, отсутствием инфляции и едва ли не стопроцентной занятостью (сказанное, однако, не касается южноевропейских государств — Испании и Греции, где уровень безработицы, особенно среди молодежи, был самым высоким в ЕС). Казалось, что основная цель капитализма — становление бесконфликтных обществ, где на фоне неуклонного экономического роста торжествуют свободный рынок и частная инициатива, вот-вот будет достигнута, причем благодаря именно государству всеобщего благосостояния. Подобная ситуация кажется нам парадоксальной.

Итак, основным тезисом четвертой части нашей статьи будет утверждение о том, что на сегодняшний день утратили значимость две предпосылки, лежавшие в основании европейских конституций XX века. Во-первых, из общественной жизни исчез конфликт, по крайне мере в том виде, в каком его понимали в середине XX века; во-вторых, преодоление неравенства и утверждение свободы как ведущие цели публичной политики выбыли с общественной сцены и публичного дискурса. По нашему мнению, это влечет за собой что-то вроде экзистенциального кризиса, поскольку определить систему координат современного политического пространства становится все сложнее. Иначе говоря, все труднее понять, каковы те важнейшие конфликты и противоречия, которые генерируют политическое действие, и какова та идея свободы (идея прав человека), которая должна выступать отправной точкой всей публичной политики. Обосновывая тезис о «текучей современности», 3. Бауман пишет о значительных изменениях, которые произошли в социуме с тех пор, как были сформулированы ключевые идеологии XX века, нашедшие свое отражение в конституциях. Учитывая вышесказанное, мы предлагаем порассуждать о способности нынешних конституционных инструментов выявлять, логически объяснять и разрешать новые конфликты и противоречия, то есть справляться с теми задачами, которые в свое время ставились перед конституциями XX столетия. Ниже мы коснемся некоторых из этих современных проблемных сфер.

Три из них являются определяющими для обществ современной Европы: а) столкновение между старой и новой политикой; б) степень жесткости фискальной политики; в) выработка нового определения понятия «демос», способного реализовать идеи мультикультурализма и разнообразия. Как представляется, все три сферы, помимо чисто политической основы, имеют под собой и моральную подоплеку. То есть изучение их сущности и истоков предполагает поиск ответов на вопросы о том, что есть справедливость, добро и зло на частном и общественном уровне. Очевидно, что эти моральные дилеммы предопределяют направление политических действий.

4.2. Новая и старая политика: из Америки в Европу

Итак, первый из конфликтов, которые мы хотели бы здесь рассмотреть, имеет скорее политическую природу, поскольку в его основе — трансформации, переживаемые в последние годы партиями и представительными институтами. Вслед за возникновением в 2009 году в США так называемой Чайной партии последовали выдвижение и победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Представители этого ультраправого движения критикуют традиционную политическую систему и особенно ее политический класс. Они призывают гнать взашей профессиональных политиков, которые не желают заниматься реальными проблемами общества и отдельных людей.

Назовем основные характеристики этого политического движения. Вопервых, его сторонники отказались от объяснения существующих политических разногласий, обращаясь к дихотомии «правые — левые». Во-вторых, используемый ими дискурс на первый взгляд кажется демократическим и нацеленным на вовлечение в политику «простого человека», который противопоставляется традиционным «олигархическим» партиям, давно обособившимся от народа. В-третьих, сторонники движения претендуют на нравственную чистоту, противопоставляемую коррумпированности и разложению правящей верхушки. Источником этой предполагаемой непорочности выступает либо религия (современный мир и нынешняя политика, по мнению американских евангелистов, изгоняют из нашего мира веру, порождая упадок нравов и моральное разложение), либо капитализм (добиваясь успеха собственными силами, целеустремленные люди, подобные Трампу, могут преуспеть в жизни несмотря на деградацию общества и его гнилые политические игры).

Указанный тип конфликта, противопоставляющий старую и новую политику, в разных вариациях проявил себя в Латинской Америке и Европе. В Латинской Америке «очистительная» функция религии или капитализма была заменена милитаристской культурой (носителями которой, например, выступают лидеры типа венесуэльского Чавеса или перуанского Умалы) или тягой к индигенизации (культурному обособлению), что свойственно любому здешнему государству — так, например, в Аргентине сложилась мифология генерала Перона. Пример Латинской

Америки важен: именно там новые доктрины существуют не только на идейном уровне, но и реализуются на практике, определив становление политических технологий, которые направлены на уничтожение представительной демократии в ее традиционном виде. В работах аргентинского политолога Эрнесто Лаклау, оказавших заметное влияние на таких латиноамериканских лидеров, как супруги Киршнер, Корреа, Чавес и Моралес, жестко критикуется демократическая система. По мнению Лаклау, противоядием от заразы либеральной демократии, основанной на господстве далеких от народа технократических элит, выступает «радикальный популизм». Апелляции к «народу», пребывающему в оппозиции к коррумпированной политической элите, означают, что притесняемое большинство должно взять власть, даже если способ ее передачи будет далек от стандартов демократических процедур, изложенных в конституциях. Характерными чертами этого политического движения стали: а) харизматичное лидерство, которое типично для президентских республик Латинской Америки; б) практики прямой демократии, включая референдумы или отзывы должностных лиц; в) жесткий контроль над общественным мнением — в 2014 году президент Аргентины Кристина Фернандес Киршнер назначила одного из апологетов теории Лаклау на должность «стратегического координатора национального мышления»; г) реактивация конституционных реформ в Боливии, Венесуэле, Эквадоре, в которых видят идеальный способ разрешить фундаментальный конфликт между старой и новой политикой и выстроить всю политическую систему заново.

Описываемый политический феномен известен и в Европе. По наблюдениям некоторых аналитиков, с 1990-х годов в Европе наблюдается рост критических настроений в отношении традиционной политики, или, по выражению французского историка Жака Ле Гоффа, «недомогание демократии»; его можно описать как чувство дискомфорта и беспокойства, обусловленное тем, что все большее число людей не только не ощущают себя причастными к демократии, но испытывают раздражение или даже злобу по отношению к нынешним политическим системам Европы. После кризиса 2007–2008 годов это «недомогание» проявилось в зарождении новых политических сил, причем на противоположных полюсах традиционного спектра. Во-первых, подняли головы крайне правые партии, еще десять лет назад находившиеся в упадке. Мы говорим о «Национальном фронте» Ле Пен во Франции, «Партии независимости Соединенного Королевства» под предводительством Фаража, немецких «Пегиде» и «Альтернативе для Германии», итальянской «Лиге Севера». Во-вторых, возникли новые крайне левые партии — «Подемос» в Испании, «Сириза» в Греции. Появились и другие общественные объединения, которые не укладываются в традиционные представления о правых и левых: например, так называемые Пиратские партии в европейских странах, которым близки идеи анархизма и американского либертарианства, или «Движение пяти звезд» в Италии, возглавляемое бывшим комиком, не имеющее определенной идеологии или четкой политической программы и огульно нападающее на традиционную

политику и старые партии. Но вне зависимости от политических идеалов все новые объединения выступают с критикой «системы» или «политической касты», противопоставляемых народу. Под «системой», само собой, они подразумевают западный капитализм и то, что лидер партии «Подемос» презрительно называет «буржуазной демократией». В Италии, Франции и Греции активизация новых политических сил привела к тому. что тралипионные политические партии почти липпились поллержки электората или вообще ушли в тень. Так, на выборах 2016 года в Испании «Подемос» почти сравнялась с Социалистической партией, набрав 5 миллионов 50 тысяч голосов против 5 миллионов 420 тысяч у социалистов. То, что некогда начиналось с безразличия или пренебрежения к политике, позже переросло в тревогу и недоверие, создав почву для появления политических движений, которые иногда небезосновательно называют популистскими (то есть склонными к демагогии и оппортунизму) или даже авторитарными. Вне всякого сомнения, это признак политического кризиса и кризиса конституционного государства, поскольку демократические системы, и прежде всего их партийная основа, переживают глубочайшую утрату легитимности. Многие европейцы, американцы и латиноамериканцы потеряли веру в традиционную политику и голосуют за партии, действующие вопреки традиционной политической логике и отвергающие привычные институты и идеологии. Возможно, говорить о свершившейся политической революции еще рано, но ее перспектива вполне реальна.

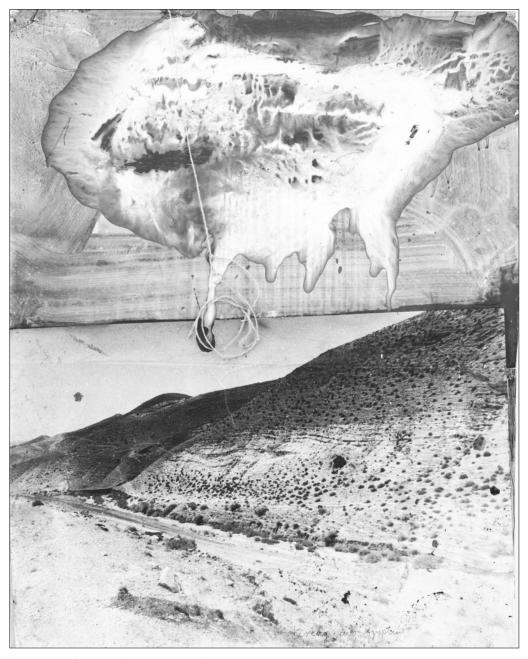
Не исключено, что нынешний политический кризис стал косвенным следствием процесса европейской интеграции и, как будет продемонстрировано ниже, того варианта разрешения финансовых проблем, который был избран Европейским союзом. Выборы являются ключевым институтом современного конституционного государства. В ходе выборов определяются правящее большинство, а также меньшинство, которое образует парламентскую оппозицию. В системах вестминстерского типа, где премьер-министр назначается палатой общин парламента из кандидатов, пользующихся поддержкой палаты, диалектическое противостояние большинства и меньшинства особенно ярко обнаруживается в голосованиях по доверию правительству и в процедуре ежегодного одобрения бюджета, в ходе которой у большинства появляется возможность пройти проверку на прочность, а у меньшинства — выдвинуть альтернативные предложения. Но в последние годы описанный принцип, который мы воспринимали как нечто само собой разумеющееся, перестал действовать в Греции и Италии. Управленческие кризисы здесь разрешались вне парламента и за пределами электорального цикла. Давайте вспомним, как в 2011 году ЕС настоял на отставке Берлускони и Папандреу и их замене не прошедшими процедуру выборов бюрократами Монти и Пападемосом. В июне 2015 года в Греции правительство «Сиризы» провело референдум по финансовой политике, результатом которого стал отказ принять условия помощи со стороны ЕС. Но практике это решение не имело никакого значения: меньше чем через два месяца греческое правительство все-таки одобрило рецепт, предложенный ЕС, поскольку иначе оно не могло восстановить кредитоспособность банков страны или получить займы у международных кредиторов. Принятие фундаментальных экономических решений было тем самым передано на наднациональный уровень в лице ЕС, что стало одной из определяющих черт процесса евроинтеграции. Но, как вскоре оказалось, процесс принятия подобных решений далек от того, чтобы называться демократическим в традиционном смысле слова. Экономика подверглась деполитизации, что на практике дало два результата. Во-первых, политическая ориентация и идеология перестали или почти перестали приниматься в расчет, поскольку в реальности имелся только один возможный вариант экономического курса. Во-вторых, как уже говорилось, выработка важнейших экономических решений оказалась выведенной за рамки политического процесса. Итогом всего этого стал принципиальнейший сдвиг: глобальная экономика, по крайней мере в ее европейском воплощении, оказалась частично несовместимой с традиционными демократическими процессами, закрепленными в конституционном праве.

4.3. Меры жесткой экономии: европейский конфликт

В идее жесткой экономии* есть моральный компонент. Жизнь в условиях самоограничения предполагает, что человек позволяет себе только самые необходимые траты и не имеет долгов, что заставляет окружающих высоко ценить и уважать его. Как и в примере с использованием слова «война» в сочетании со словом «терроризм», здесь можно удостовериться в том, что политическая окраска слов никогда не бывает нейтральной. Как было сказано в разделе 2, экономический кризис привлек всеобщее внимание к парадигме жестокой экономии. Она довольно проста: каждое европейское государство должно нести ответственность за свои доходы и расходы. В тех весьма распространенных ситуациях, когда доходов не хватает, а экономического роста почти нет, государство обращается за помощью к рынкам, эмитируя долговые облигации и иные кредитные инструменты. Но рынки не обязаны принимать подобные просьбы как должное и могут выдвигать условия относительно ставки кредитования (премия за риск или маржа, то есть разница в цене, например, между облигациями Испании и облигациями Германии), исполнить которые не представляется возможным. Именно это в 2009–2011 годах произошло со странами еврозоны, расположенными на юге Европы. Тогда им, лишившимся доступа к внешнему кредиту, помогли другие государствачлены, но в обмен на помощь эти доноры, или участники так называемой тройки**, потребовали внедрения жесткой экономии: снижения государственных расходов, включая социальные выплаты, а также пенсии и зарплаты в бюджетном секторе, повышения налогов,

^{*} Жесткая экономия (англ. austerity) может также переводиться на русский как «самоограничение» или «аскеза». — Прим. перев.

^{** «}Тройка» представлена странами — донорами ЕС, Европейским центробанком и $MB\Phi$. — Прим. ред.



Ансельм Кифер. Исход из Египта. 1984

реформирования рынка труда. Иными словами, у государств, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, не осталось выбора: отказ от финансового оздоровления гипотетически означал выход из зоны евро, что не представлялось допустимым ни с политической, ни с юридической точки зрения.

Этот новый источник напряженности разрушил традиционную политическую дихотомию «левые — правые». Любая правящая партия

государства — члена ЕС вне зависимости от ее идеологии была обязана согласиться с политикой жесткой экономии: вспомним греческую «Сиризу» или коалицию левых в Португалии. Соотношение такой политики с представительной демократией далеко не ясно. С одной стороны, меры финансового оздоровления вводились без одобрения со стороны национальных парламентов или даже, как в Греции, открыто вопреки воле народа, выраженной на референдуме. Но с другой стороны, некоторые решения, например об ограничении государственных расходов, принимались национальными парламентами, пусть даже под мощным давлением со стороны ЕС. Некоторые ученые и политики полагают, что финансовое оздоровление и международная кредитная помощь, последствия которых будут ощущаться на протяжении десятилетий, поставили получателей в зависимость, несовместимую с представлениями о суверенитете и демократии. Кроме того, очевидно, что правительства Греции и Италии были назначены ЕС, а не сформированы по результатам выборов. Таким образом, политика жесткой экономии вырабатывается не самими членами еврозоны, а определяется извне, что противоречит институциональным и процессуальным основам представительной демократии.

Возможно, как раз для того, чтобы избежать упреков в ограничении демократии, ЕС побудил Испанию, Италию и Ирландию внести изменения в национальные конституции, дабы их положения включили в себя запрет дефицитного бюджета и ограничения размера государственного долга. Так, пересмотренная статья 135 Конституции Испании существенно ограничивает лимиты расходов и возможности заимствований со стороны национального правительства, а также региональных и муниципальных властей. Теперь эта статья содержит в себе послание финансовым рынкам: «Займы для покрытия процентов и номинальной суммы долга публичных администраций должны отражаться в отчетах о расходовании их бюджетов; они подлежат погашению в первоочередном порядке». По крайней мере в теории упомянутые государства усвоили логику жесткой экономии и «конкурентного государства», способного сдерживать рынки (см. раздел 2.2 данной статьи), использовав для этого демократическую процедуру конституционной реформы.

Последствия перехода к жесткой экономии едва ли стоит недооценивать. До наступления кризиса и проведения соответствующих конституционных реформ рынок идей предлагал множество вариантов политических, экономических и идеологических решений. После кризиса и сопровождавшего его навязывания реформ некоторые из них были отклонены на законодательном уровне, поскольку попросту стали неконституционными.

4.4. Новое определение понятия «демос» и коллективная идентичность: классический конфликт

Любое политическое сообщество пребывает в состоянии непрерывных изменений, поскольку границы и принципы, определяющие принадлежность к нему, как и исключение из него, не являются незыблемыми. На протяжении пятнадцати лет после 2001 года, когда был введен евро, Европа переживает череду событий, которые послужили поводом для возобновления дискуссии относительно понятия «демос» и его особенностях. Пусть это происходит не всегда явно, но речь идет о том, каким образом мы определяем себя как общество, коллектив, политическое образование в мире, переживающем глобализацию.

Мы не говорим о территориальных или этнических конфликтах, похожих на те, которые имеют место на Балканах, в Ирландии или Бельгии, а также, с недавних пор, в Шотландии и Каталонии (ситуация на Украине имеет несколько иную природу). Интересно, что вопрос о суверенитете фактически не поднимался, когда упомянутые страны вступали в ЕС или в зону евро (хотя было очевидно, что именно суверенитет является ключевой проблемой), но зато он возник сразу же, как только в политической повестке появилась тема обособления регионов от традиционных государств.

О понятии «демос» в отношении ЕС не раз вспоминали во время конституционного кризиса 2005 года, вызванного провалом европейской конституции. Выносимый тогда на голосование конституционный договор недвусмысленно провозглашал носителем суверенитета в новой Европе ее народ. Он также регулировал тему европейского гражданства и прокладывал дорогу к общеевропейской федерации. Сегодня вполне закономерным выглядит следующий вопрос: можно ли видеть в провале конституционного проекта сигнал того, что в европейской интеграции что-то пошло не так? Не исключено, что государства и их граждане были согласны принять политическую интеграцию, но не были готовы открыто обсуждать сущность вырастающего из нее политического объединения и позволить национальным политическим сообществам раствориться в общеевропейском сообществе.

Не так давно произошли три события, которые подтвердили, что вопрос о европейском демосе все еще не решен. Первым стал Брексит. Каким бы ни было наше отношение к ЕС или к Великобритании, бесспорным остается то, что для ЕС он оказался политической и моральной катастрофой. Возможно, сказанное верно и для Великобритании, в отношении которой следует говорить о сознательно спровоцированной катастрофе. ЕС считал себя настолько замечательным клубом, что у его членов, по идее, даже не могло возникнуть мысли о том, чтобы уйти. И действительно, до подписания Лиссабонского договора в 2009 году процедура выхода не была урегулирована. Государства знали, что следует сделать, чтобы вступить в союз, но не знали, как его можно покинуть. Отказ от членства в союзе представлялся невозможным, и из-за этого процедура выхода не была урегулирована. И вот теперь, когда Великобритания уходит из ЕС, становится очевидным, что понятие «демос» для Европы — даже если согласиться с самим фактом его существования — лишено однозначности. Ведь политический демос, из рядов которого можно выйти по собственному желанию, не есть подлинный демос.

Вторым событием стал правовой по своей природе и весьма ожесточенный спор, разгоревшийся в Германии из-за вопроса о пределах

политической и экономической интеграции. Некоторые специалисты высказывались в пользу скорейшего изменения немецкой Конституции, поскольку в своем нынешнем виде она мешает реализации идеи федеративной Европы. Одновременно граждане Германии, включая представителей судейского сообщества, обжаловали полномочия ЕЦБ, поскольку сочли их не соответствующими немецкой Конституции, но Европейский суд справедливости в небезупречном решении по делу Gauweiler (мы упоминали о нем выше) высказался в пользу банка, возможно, нарушив тем самым положения договоров ЕС. К моменту написания данной статьи (ноябрь 2017 года) рассматриваются еще несколько аналогичных судебных дел. Для нас очевидно, что проблема, в которой кто-то может увидеть лишь казус немецкой юридической практики, на деле является не казусом, а закономерностью, причем не немецкой, а общеевропейской. Германия — мощнейшее государство, локомотив Европы, и если у нее возникают сложности с политической и экономической интеграцией, значит, подобные проблемы есть у всех государств ЕС. Иными словами, речь идет о политической (а не сугубо юридической) и общеевропейской (а не узко национальной) проблеме. Третье событие, имеющее отношение к европейскому демосу и идентичности — это расширяющаяся иммиграция. В некоторых государствах Европы традиционно проживает большое число иммигрантов, преимущественно из их бывших колоний. Во Франции их число составляет 11%, в Бельгии — 11,5%, в Великобритании, Австрии, Германии — по 13%, но в последнем случае показатель стремительно растет. Много иммигрантов принимают богатые страны — например, Швеция и Дания, где их доля в населении составляет 16 и 12% соответственно. В более бедных государствах Южной Европы показатели также сопоставимы: это 9% в Испании и 8,3% в Италии. Превращению иммиграции в политическую проблему способствовали такие факторы, как подъем терроризма и рост радикальных настроений, дебаты о мультикультурализме и идентичности, экономический кризис, отсутствие чувства уверенности в будущем (высокий уровень безработицы в южных странах Европы и, конечно, европейский миграционный кризис, разразившийся в 2015 году и так и не пришедший к полному завершению). В 2007 году во Франции президент Саркози учредил новое министерство по делам иммигрантов, интеграции и национальной идентичности, тем самым поставив проблему «национальной идентичности» в один ряд с такими традиционно политическими проблемами, как жилищное строительство, внешняя политика и сельское хозяйство. Резонно возникает вопрос, какие именно меры сумеет предпринять правительство Франции, чтобы определить, поддержать, защитить «национальную идентичность». При этом, разумеется, мы должны с порога отвергнуть методы, привычные в свое время для Геббельса. Существенно то, что указанные нами болезненные ситуации, связанные с определением природы политического сообщества, имеют сходные черты с упомянутыми ранее конфликтами: нынешними экономическими противоречиями и вопросом о роли демократии в управлении глобальной экономикой. Они разрушают старое разделение на левых и правых, поскольку антиевропейские настроения и скептицизм относительно создания в Европе единого политического сообщества наблюдаются как у представителей правых партий — «Национального фронта» во Франции, «Партии независимости Соединенного Королевства», «Альтернативы для Германии», так и у левых — греческих «Сиризы», «Полемос», старых французских социалистов. Избиратели-ксенофобы, голосующие за «Национальный фронт» Марин Ле Пен, относят себя и к правым, и к левым. По сути, выявление первейшего, базового определения понятия «демос» можно и не считать политическим вопросом. Ведь оно подразумевает разговор не столько о насущных политических проблемах государств, сколько об условиях, которые необходимы для реализации свободы и фундаментальных прав человека, являющихся результатом определенных отношений человека с государством (в рамках института гражданства) и факта его принадлежности к политическому сообществу. Мы считаем, что это дополитический вопрос, который в данной статье не затрагивается — из-за чего, в частности, мы не рассматривали теорию столкновения цивилизаций Хантингтона. Некоторые ученые отмечают, что отказ от механизмов представительной демократии в пользу все более частого обращения к референдуму также является признаком поиска нового определения демоса. Действительно, в предшествующие два года в Великобритании состоялись два референдума (по независимости Шотландии и Брексит) и оба напрямую были связаны с вопросом об определении идентичности. В Греции прошел референдум по финансовой политике, несколько референдумов состоялось в Италии, причем отрицательный результат, полученный в ходе конституционного референдума в декабре 2016 года, привел к отставке председателя Совета министров Ренци. Впрочем, в распространении этого явления все-таки не стоит видеть полного разочарования в представительной демократии. По крайней мере пока.

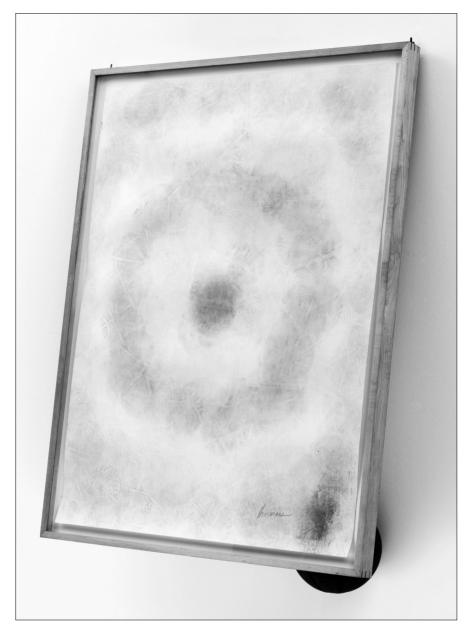
5. Некоторые идеи о взаимосвязи кризисов с правом

В последнем разделе мы бы хотели затронуть вопрос о связи перечисленных нами кризисов с правом. Некоторые аспекты этой темы уже освещались ранее, и теперь мы обобщим их.

В XXI веке право столкнулось с новыми вызовами. Ими стали: чудовищное разрастание информационных потоков из-за развития телекоммуникаций и сети Интернет; массовые переселения людей, отчасти ставшие результатом войн нового типа; и самое главное, постепенное разрушение или полное уничтожение традиционного понятия «суверенитет», исторически выступавшего фундаментом современных конституционных систем. Ученые-правоведы, политологи и философы переживают нелегкое время, поскольку под каток глобализации попали многие традиционные юридические понятия и инструменты права. В значительной мере трудности обусловлены отмеченными выше тремя кризисами.

Право и конституции адаптировались к новому положению вещей с заметным трудом. В целом можно сказать, что право государств ЕС достаточно быстро смогло приспособиться к новым реалиям глобальной экономики, став средством реализации политики «затягивания поясов» и финансового оздаровления. Конституционные поправки, принятые в Испании, Италии и Ирландии, вне всякого сомнения, имели своей целью стабилизировать финансовые рынки и снизить рисковую премию государственных облигаций. Эти страны пошли на серьезные ограничения своей конституционной независимости не в рамках новых политических контрактов, которые обычно оформляются конституциями, но стремясь простимулировать рынки и избежать принудительного спасения от банкротства. (На деле, впрочем, когда Ирландия в 2012 году принялась править собственную конституцию, ЕС уже начал операцию по ее финансовому спасению.) Когда же появились соответствующие юридические казусы (например, дело Gauweiler), Европейский суд справедливости выступил в поддержку подобной политики, невзирая даже на то, что формально-юридически действия Европейского центрального банка в подобных спасательных операциях нарушали договоры ЕС.

К добру или к худу, но право сыграло в рассмотренных нами кризисах не слишком значительную роль. Прежде всего нормы права как таковые не были их первопричиной, хотя с определенной степенью уверенности можно говорить о том, что недостаточное регулирование финансовой сферы стало фактором, форсировавшим и усугубившим финансовый кризис 2007-2008 годов или по крайней мере усложнившим для публичных властей задачу по его разрешению. Это предположение легло в основу сюжета знаменитого оскароносного документального фильма 2010 года «Внутренняя работа», и оно кажется верным. Слабое правовое регулирование финансовой системы США, захват контролирующих ведомств банками, страховыми компаниями и крупными инвесторами привели к катастрофическим последствиям. В Европе ситуация была несколько иной; здесь финансово-экономический кризис был спровоцирован не столько дерегуляцией, сколько структурными изъянами системы евро. Как бы то ни было, переходя к кризису безопасности, можно утверждать, что право оказалось фактически бессильным против вызовов глобального терроризма и искушений тоталитаризма и авторитаризма (в особенности в государствах с молодой демократической традицией, подобных Турции или России). Наконец, с закреплением принадлежности индивида к сообществу право справляется еще хуже. Раньше считалось, что национализм в Европе спит или вовсе исчез, но в последнее время в дополнение к таким традиционно беспокойным регионам, как Балканы и Ольстер, сильные всплески национализма наблюдаются в Шотландии, Каталонии, а также в Бельгии. К сожалению, национализм и сецессионизм нельзя побороть, опираясь только на право. Их не так-то просто купировать при помощи законов и конституций, а кто-то может сказать, что и вовсе нельзя. Культурная интеграция в разнородные и открытые сообщества, какими являются государства Европы, сопряжена со значительными юридическими и нравственными проблемами. Некоторые из них связаны



Дэвид Хаммонс. Инсталляция «Вне игры». 1995–1996

со свободой выражения мнений — об этом свидетельствует история с карикатурами на пророка Мухаммеда; или со свободой вероисповедания — правовое регулирование отдельных религиозных вопросов в Европе заметно отличается от такого же регулирования в США; или с семейными вопросами — упрощенный мусульманский развод, браки по принуждению или браки с участием несовершеннолетних, которые распространены внутри некоторых сообществ или допускаются религиозными канонами, но при этом противоречат законодательству европейских государств; или,

наконец, с вопросами ношения традиционной одежды — вспомним многочисленные решения европейских судов по никабам, хиджабам, буркам. Кроме того, право оказывается далеко не идеальным инструментом в тех ситуациях, где речь идет об определении траектории сложных политических процессов, подобных Брекситу: сегодня сложно предугадать, каковы будут последствия реализации статьи 50 Договора, регулирующей выход государств из ЕС. Мы не откроем Америку, сказав, что право не всесильно. Но если даже право не порождает кризисы и в краткосрочной перспективе не кажется инструментом, способным их разрешить, мы не должны забывать о том, каких выдающихся успехов достигли конституционное право и правозащитное законодательство в преодолении величайших проблем XX века — по крайней мере в развитых западных странах. На национальном и межгосударственном уровнях был создан свод моральных правил и принципов, которые несколько раз подвергались испытаниям в смутное время, но все же в качестве конституционных принципов они справились с задачей отстаивания и защиты прав человека, демократии, меньшинств, толерантности, сделав сообщества, разделявшие эти принципы, более сильными и открытыми. В тяжелой и кризисной ситуации конституционное право не должно действовать вопреки самому себе, безосновательно ограничивая права человека и усиливая полномочия властей. Законы и конституции показали себя полезным инструментом урегулирования конфликтов, по крайней мере на Западе. Вопрос принципиальной важности заключается в том, с какими оговорками западные ценности и либеральная мысль, источником которой является европейское Просвещение, могут экспортироваться в иные страны — и могут ли вообще? Каким бы ни был ответ — хотя нам кажется, что он должен быть утвердительным, мы все-таки верим, что даже несмотря на неизбежные социальноэкономические и политические травмы и неудачи, инструментарий конституционализма поможет справиться с кризисом. Разумеется, набор инструментов нужно совершенствовать, чтобы сделать их пригодными для работы в условиях глобализации, Интернета, миграции; они должны вобрать в себя современные идеи: глобальную концепцию прав человека американского политолога Майкла Игнатьева, идею «достойного общества» израильского философа Авишая Маргалита, конституционную теорию немецкого правоведа Петера Хэберле. В критические моменты право и публичные институты должны поддерживать принципы открытости, подотчетности, независимости судебной власти, защиты прав человека, сохраняя при этом способность адаптироваться к новым реалиям и эффективно работая в ситуациях новых кризисов. Пересматривая конституции и обновляя их, общества — в том числе отдельные их представители — должны исходить из того, что признаваемая цивилизованными нациями ценность верховенства права, демократии и прав человека не может быть утрачена.

> Перевод с английского Екатерины Захаровой



Микаэль Мертес, публицист, общественный деятель, советник федерального канцлера ФРГ Г. Коля (1987–1998)

И снова о «конце истории»

I.

Почти двадцать пять лет назад мне выпала честь впервые присутствовать на семинаре Школы. Тогда, в 1994 году, она еще называлась Московской школой политических исследований. Мы собирались в Голицыно. Пришло время поделиться размышлениями о некоторых иллюзиях и ошибках, которые в последние четверть века, после окончания холодной войны характеризовали дебаты о будущем нашего мира.

С готовностью признаю, что я и сам был отчасти в плену этих ошибок и иллюзий. Впрочем, это не означает, что с тех пор я переместился в лагерь циников. Говорят, что циники — это разочаровавшиеся идеалисты. Несмотря на все разочарования, в мире *существуют* идеалы, не потерявшие ценности, те, которые необходимо защищать перед лицом горькой действительности.

Для меня наиболее важный идеал — это слова, избранные Школой в качестве девиза: Sapere aude! (Дерзни мыслить!). В труде «Антропология с прагматической точки зрения» (1798) Иммануил Кант определил этот императив следующим образом. Во-первых, думай за себя, а не позволяй думать за себя другим. Во-вторых, сообщая свои мысли другим, пытайся поставить себя на их место. В-третьих, не обманывайся и всегда стремись думать в соответствии со своими принципами.

Так укорененный в умах множества людей этот идеал не может исчезнуть с лица земли. Однако за последние четверть века мы узнали, что он не распространяется по планете сам по себе, подобно вирусу; что у него могущественные противники, которые стремятся отодвинуть его в тень; и что не только сторонники, но и противники этого идеала пользуются новыми информационными технологиями и коммуникациями, на которые возлагали столько надежд поборники свободных диспутов.

Процитирую три голоса из 1990-х, ярко выразившие свойственные нашему пути иллюзии и ошибки.

«Конец истории»

Известный тезис Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Труд Фукуямы увидел свет летом 1989 года. Разумеется, Фукуяма не намеревался утверждать, что будущее свободно от конфликтов или прогресса. Его аргумент состоял в том, что либеральная демократия оказалась наивысшей и, следовательно, заключительной сталией общественной эволюции человечества, то есть устройства государства, экономики и общества. И тем самым должна была утвердиться, рано или поздно, в качестве в глобальной нормы.

Из тезиса Фукуямы следует, что всемирный триумф либеральной демократии основан на некой исторической необхолимости, если воспользоваться гегелевской и марксистской терминологией. Однако это не значит, что в XXI веке у либеральной демократии не будет новых противников.

Эти противники действительно существуют, и они, увы, в добром здравии. Я говорю не только о радикальном исламизме или о «Мыслях Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре», но также о процессах эрозии в традиционных либеральных демократиях, наиболее значимым симптомом которых выступает рост националистических, популистских течений.

В мире Фукуямы западные идеи должны были переноситься в страны, жители которых продолжали бы жить дома. В реальности начала XXI века люди из «незападных» стран переселяются на Запад, прихватив в багаже собственные идеи и представления о мире. В западных обществах это порождает защитную реакцию. В то время как демократия, согласно взглядам Фукуямы, представляет собой универсалистский принцип вовлечения (инклюзивности), все больше избирателей на Западе, напротив, воспринимают ее как некий бастион, призванный защитить образ жизни большинства. Основанное на исключительности истолкование демократии подразумевает противоречие между гуманитарными обязательствами во всемирном масштабе и гражданскими правами внутри отдельных стран. Националисты и популисты призывают разрешить это противоречие в пользу прав большинства. Под тем же предлогом представители этих течений подвергают нападкам те самые институты, которые призваны защищать гражданские права внутри страны, в частности независимые суды и СМИ. Следовательно, сегодня на Западе конкурируют две модели: либеральная демократия и нелиберальная демократия.

«Новая эпоха просвещения»

Второй пример позаимствован у Джона Мейджора, бывшего премьер-министра Великобритании. В замечательной речи 1995 года Мейджор сказал:

«Сегодня Европа стоит на пороге нового века Просвещения ...Первый век Просвещения наполнил Европу новой уверенностью в себе. На смену религиозным войнам пришли разум и терпимость. На смену суевериям — наука. ...В те дни Европа просыпалась от тьмы невежества. Сегодня Европа выходит из столетия насилия и идеологии. ... Что я подразумеваю под новым веком Просвещения? Вопервых, я имею в виду конец догматизма и идеологии. ...Сегодня авторитаризм разума исчез, надеюсь и молюсь, что навсегда. Мы видим перед собой Европу открытого разума».

Эти слова, даже в большей степени, чем тезис Фукуямы о «конце истории», выразившие повсеместный «западный оптимизм» четвертьвековой давности, были немало поколеблены последующими событиями. Сегодня распространяются новые суеверия — теории заговора, фальшивые («фейковые») новости, «альтернативные факты». Подлинная беседа — спокойная, взвешенная, разумная — тонет в потоке фанатизма и ненависти. Открытые умы затихают из-за фрагментирования общественного пространства, где общение возможно только между единомышленниками.

«Новый афинский век демократии»

Это подводит меня к третьей ошибке, которой не избежал и я сам. До недавнего времени я был убежден, что новые информационные и коммуникационные технологии внесут вклад в мировой триумф либеральной демократии, беспрецедентно расширив число людей, способных участвовать в демократическом процессе формирования общественного мнения.

Я также полагал, что децентрализованный характер этих технологий не позволит авторитарным и тоталитарным правителям контролировать мысли подданных (слово «граждане» здесь неприменимо). Преисполненные энтузиазмом граждане, казалось нам, станут движущей силой демократического дискурса. Пожалуй, с наибольшей убежденностью эту мысль высказал Эл Гор, бывший вице-президент США. В 1994 году, рассуждая о так называемой Глобальной информационной инфраструктуре, он наступление предсказывал афинского века демократии». Глобальная информационная инфраструктура не только станет «метафорой действенной демократии, но и будет способствовать ее развитию, многократно расширив участие граждан в процессе принятия решений. Кроме того, она существенным

образом усилит способности народов к сотрудничеству».

В ту пору когда Гор произнес эту речь, никто не предвидел (или не мог предвидеть) возвышения интернет-гигантов — Google, Facebook, Amazon, возможности кибервойн и поддерживаемых государством «фабрик троллей» или системы «рейтинга гражданина», в соответствии с которой оценивается поведение каждого гражданина Китая, нравится ему это или нет. Никто не предвидел (или не мог предвидеть) драматического ухудшения качества пространства общественных дебатов вследствие возникновения замкнутых сообществ (групп единомышленников) в сети Интернет, в которых предрассудки и предвзятые мнения многократно умножаются, что нередко способствует росту социальной поляризации, политического экстремизма и культурной изоляции.

Не думаю, что кто-то ожидал появления «Дивного нового мира» (если воспользоваться названием знаменитого романа Олдоса Хаксли), в котором личности будут сведены к биомеханическим подсистемам, «управляемым глобальными сетями, которые информируют нас, секунда за секундой, что мы ощущаем...». В леденящем, апокалиптическом бестселлере «Homo Deus» (в грубом переводе «Богоподобный человек» — в противоположность нашему виду, устаревшему Homo sapiens) израильский историкмедиевист Юваль Ной Харари предвидит появление новой мировой религии, вселенской веры в могущество алгоритмов, учения, которое он именует «датаизмом». Бог датаизма — «всезнающая, вездесущая система обработки данных... к которой будут постоянно подключены все люди»*.

^{*} Tim Adams: Homo Deus: A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari review — chilling // The Guardian, 11 сентября 2016 г. (https://www.theguardian.com/books/2016/sep/11/homo-deus-brief-history-tomorrow-yuval-noah-harari-review).

См. русский перевод первой книги Юваля Харари «Sapiens»: Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. Пер. с англ. Л. Сумм. — М.: Синдбад, 2018. — Прим. ред.

Что ж, попытаюсь не попасть в ловушку пессимистической футурологии. В конце концов, антиутопию роднит с утопией только претензия на ясновидение будущего. Прекрасные строки немецкого поэта Фридриха Гёльдерлина (1770-1843) лучше всего выражают мои чувства, несмотря на разочарование:

Ключевой вопрос в том, что делать, если

Но там, где угроза растет, Явлен и спаситель*.

П.

мы уверены в неправильном положении дел. В решении этой задачи состоит миссия Школы, в этом, на мой взгляд, и значение гражданского просвещения. Так или иначе, но я не воспринимаю себя лишь биомеханической подсистемой. Я не готов подчиниться диктатуре алгоритмов. Я сторонюсь герметичного мирка, где императивный призыв «Sapere aude!» утратил значение. Я не хочу, чтобы в таком мире жили мои дети и внуки. Как противодействовать силам антипросвещения? Решение не может сводиться к бегству от противоречий, самоизоляции и жалобам на мировое зло. Гражданское просвещение преследует цель вовлечь людей в общественные дебаты и даже более того — сообщить им удовольствие от участия. Поэтому позвольте мне сделать несколько скромных предложений. Мое первое предложение соотносится с формой проведения общественных дебатов. Думаю, что существующая в ЕС напряженность в отношениях между восточными и западными государствамичленами послужит удачным примером. Современные правительства в некоторых странах Восточной и Центральной

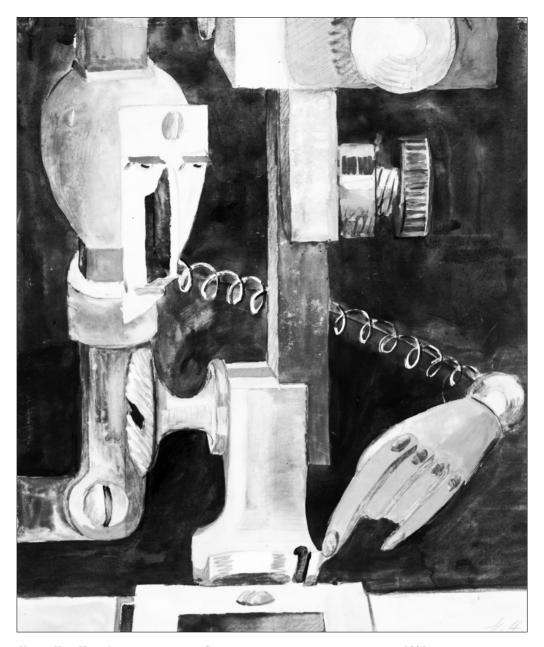
Европы, например в Венгрии и Польше,

открыто симпатизируют идеям нелиберальной демократии. При нелиберальной демократии независимость суда и свобода СМИ оказываются под ударом; меньшинств постулирована строчными, а власть большинства заглавными буквами. Такая политика вызывает критику со стороны западноевропейских правительств и властей ЕС. Восточноевропейские правительства возражают, что западноевропейские критики прибегают к высокомерному патернализму, стремясь утвердить «диктатуру политкорректности», и, хуже того, посягают на национальную независимость восточноевропейских демократий.

Я вовсе не сторонник нелиберальной демократии, но мне кажется, что в общении с восточными европейцами европейцы западные допустили немало ошибок. Нечто подобное можно сказать и об отношениях между западными и восточными областями Германии. В Восточной Германии общественные настроения вполне можно уподобить сантиментам в других восточноевропейских странах: здесь нередко можно встретить враждебность к так называемой западной опеке, к якобы стремлению использовать риторику о правах человека для подавления демократической воли большинства.

Как объяснить эту враждебность? (Объяснить — не значит оправдать.) Я думаю, существенно важным оказалось нежелание западной либеральной элиты с серьезностью подойти к заботам и тревогам людей в молодых восточноевропейских демократиях. Победоносные реляции о «конце истории» обернулись излишней самонадеянностью. Многие из нас в Западной Европе, включая меня, с гордостью относили себя к авангарду «постнационального мышления». Вот почему мы не осознали, что для наших соседей с

^{*} Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch. Строки из стихотворения Фридриха Гёльдерлина «Патмос»



Ханна Хох. Исследование на тему «Совместимость человека и техники». 1921

Востока нация и свобода не противоположные понятия. Кстати, многие из нас удивлялись и тому, что на Западе все громче раздаются голоса против либеральной постнациональной парадигмы.

Мой второй тезис состоит в том, что сегодня идеи Просвещения должны служить интеллектуальным оружием против

мирской религии «датаизма». Императив «Думай самостоятельно!» подразумевает свободу от внешней опеки (Кант). «Новая эпоха Просвещения» может наступить только в том случае, если мы избавимся от новых «охранителей», которые сегодня принимают вид не королей и священников, а алгоритмов.

История не знает прецедентов такой угрозы, и поэтому мы к ней не подготовлены должным образом. В прошлом охранителями выступали лица, облеченные государственной властью, или же их поддерживали государственные власти. Соответственно врагов независимого мышления можно было узнать в лицо. Напротив, глобальная система обработки данных в основном организована частными пользователями — и она невилима. Она дает нам множество преимуществ только подумайте, как просто и недорого сегодня общаться на больших расстояниях или получать доступ к информации (в любом месте, в любое время), для извлечения которой ранее бы потребовались длительные библиотечные изыскания. Но указанные преимущества не бесплатны. Мы расплачиваемся за них собственной приватностью, а также нередко лишаемся удовольствия пользоваться собственным умом.

Для того чтобы воспользоваться преимуществами новых информационных технологий и коммуникаций, не подчиняясь благожелательной (или не слишком благожелательной) машине по обработке данных, нам необходима культура сознательного и критичного освоения этих технологий. Вероятно, это звучит претенциозно. Но я имею в виду простые вещи. Как отец и дед я вижу, что мои дети и внуки растут в «дивном новом мире» датаизма. Я пытаюсь убедить их, что наивно раскрывать личную информацию перед глобальной системой обработки данных, объяснить, насколько увлекательно открывать мир самостоятельно, без помощи Google, пестовать дружбу без помощи Facebook и направлять свою гражданскую энергию в значимые общественные объединения, а не в эфемерные сетевые сообщества.

Речь идет не только о семейном образовании. Это существенный политический вопрос, относящийся к нашей образовательной системе. В Германии ведутся споры о цифровизации наших школ. При этом смысл понятия «цифровизация» остается весьма расплывчатым. Стремимся ли мы как можно лучше адаптировать наших детей к жизни в экономике. все более зависящей от массивов ланных? Или же мы хотим, чтобы они были способны на независимое мышление, каковое в сегодняшнем мире предполагает разумное использование цифровых средств? Станет ли наша образовательная система принципиально лучше, если в руках каждого ребенка окажется планшетный компьютер? Или, напротив, детей следует попрежнему обучать решению задач без технических средств, с ясной головой и карандашом в руке? Возможно ли сочетание указанных методов?

Любопытно, что многие родители, работающие в Силиконовой долине, отправляют своих детей в школы, не оснащенные компьютерами. Пожалуй, они не старомодные люди. Может быть, это я старомодный человек. Я полагаю, что не следует делегировать компьютерам такие элементарные культурные навыки, как чтение, письмо и счет, так же как я считаю, что личной зрелости и духовной независимости способствуют чтение книг, пение в хоре, игра на музыкальном инструменте, участие в театральном спектакле, живопись или дружеская беседа, выходящая за пределы обмена «смайликами».

Мое третье рассуждение соотносится со стандартами истинного и ложного в общественных дебатах. Несколько лет назад философ Гарри Франкфурт написал небольшую книгу под смешным названием: «О брехне». Людей, производящих брехню, не волнует, правду они говорят или лгут, пока им удается привлекать к себе внимание. В известном смысле эти люди даже опаснее лгунов, так как лгуны по крайней мере, намеренно искажая правду, относятся к ней серьезно.

Массовое производство брехни и вал риторики ненависти в сети Интернет способствовали распространению двух противоположных взглядов на содержание сетевых страниц — полного недоверия и абсолютной доверчивости. Эти противоположности подобны двум концам подковы: они почти соприкасаются. Многие из тех, кто склонен подозревать так называемые традиционные СМИ в производстве «фейковых» новостей, готовы поверить в самые нелепые теории заговора, если только их излагают самоназванные сетевые проводники «подлинной правды».

Не так давно праворадикальный веб-сайт в Германии опубликовал ложную заметку о том, что канцлер Меркель заявила, будто арабским беженцам следует отдавать предпочтение перед урожденными немцами, потому что, дескать, арабы у нас в гостях. Дезинформация быстро распространилась в социальных сетях, утвердив многих читателей в мнении, что ведущие СМИ замалчивают столь сенсационную новость.

Еще один пример — американские дебаты о законодательном ограничении права на ношение оружия после массового расстрела в школе Паркленда (Флорида) 14 февраля 2018 года. Эти события послужили поводом для протестного движения среди выживших учащихся. Вскоре последовала реакция сторонников неограниченного права на продажу и ношение оружия. В Интернете получила распространение теория, что протестующие школьники действовали не по своей воле, а как агенты организованного ФБР заговора против президента Трампа*.

И последний пример: в арабских социальных сетях можно обнаружить нелепое утверждение, будто Аль-Багдади, главарь террористической группировки «Исламское государство», в действительности был агентом МОССАДа, тайной израильской разведки. Мое внимание к этой теории заговора привлек другпалестинец — я был потрясен, когда осознал, что сам он вполне допускает вероятность такой гипотезы**.

Борьбу с фальшивыми новостями сильно осложняет то, что они обращены к эмоциям. Указанное обстоятельство делает их более привлекательными, чем рациональная, выверенная информация***. Думаю, что главная задача гражданского образования состоит в том, чтобы укоренять стандарты критического восприятия информации. В принципе скептицизм это здоровое чувство. Он подразумевает средний путь между абсолютной доверчивостью И полным недоверием. Действительно, нам не следует слепо верить во все, что говорит нам правительство, но не следует и огульно отвергать официальную информацию только потому, что она предоставлена властями. Ключевой вопрос всегда состоит в том, выдерживает ли информация критику. Следует также ориентироваться на не-

следует также ориентироваться на несколько общих правил. Наверное, представляется оправданным доверять хорошо зарекомендовавшим себя институтам. К ним, я считаю, можно отнести значительную часть традиционной прессы. Она противостоит состряпанным наспех статейкам, дешевой карикатуре на журналистику, коктейлю из информационных

^{*} How rightwing media is already attacking Florida teens speaking out // The Guardian, 20 февраля 2018 г. (https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/20/how-rightwing-media-is-already-attacking-floridateens-speaking-out).

^{**} Shock claim top ISIS leader is 'Israeli spy'. // Daily Star, 10 октября 2016 г. (https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/550882/conspiracy-ISIS-leader-Abu-Bakr-al-Baghdadi-Israeli-Intelligence-Agency-Mossad-spy).

^{***} Falsche Nachrichten sind sexy. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9 марта 2018 г., с. 15.

вырезок в Google, не имеющим ничего общего с независимым мышлением.

Хорошая журналистика стоит дорого лучшие из информационных агентств и компаний содержат большую сеть корреспондентов, которые видят собственными глазами и слышат своими ушами все то, о чем сообщают публике. Если мы хотим, чтобы традиция журналистики продолжалась, мы должны быть готовы платить за нее. Людям только кажется, что информация в Google бесплатна. Цена, которую мы за нее платим, не выражена в денежных знаках, но, возможно, гораздо более высока, чем деньги, — ведь мы платим цену своей приватности и утраты высококачественной информации.

Мое последнее замечание относится к культуре диалога. Вспомните императив Канта о необходимости поставить себя на место другого, прежде чем делиться с ним мыслями. Каждый должен думать сам за себя, но и позволять другому становиться сопричастным его мыслям. Это и отличает диалог от обращенных в пустоту монологов.

Не раз отмечалось, что в современном дискурсе отжившие свое термины «раса», «национальность» вытеснены словом «культура». Теперь нам предлагают завуалированное расистское истолкование термина «культура». В соответствии с подобным взглядом культуры неприкосновенны, неизменны и взаимонепроницаемы. Их можно понять только изнутри, не применяя внешние критерии. Не должно критиковать Иран, так как вы не понимаете его культуру. Не должно критиковать Китай, так как вы не понимаете его культуру. Не должно критиковать систему религиозных верований или мирских принципов, так как вы не принадлежите к числу «верных».

Если видеть мир в таком свете, то культуры предстали бы интеллектуальными и эмоциональными тюрьмами, из которых нет выхода. Их оценка с точки зрения универсалистских норм, таких как права человека, была бы проявлением культурного империализма. Любопытен еще один пример невольного соприкосновения противоположностей. Изначально о святости культур как о принципе говорили политики левого толка, защищая «идентичность меньшинств»; сегодня за него выступают и политики — адепты правых взглядов, защищая права большинства.

Как найти путь разума между двумя крайностями? Позвольте вновь сказать, что ответ следует искать в самом разуме. Политика идентичности соответствует тому, что Карл Поппер некогда назвал «мифом концептуального каркаса». Согласно этому мифу, «рациональная и плодотворная дискуссия невозможна, если участники не придерживаются неких общих исходных принципов»*. Культуры, подобно языкам, могут выступать барьерами; однако иноземная культура, подобно иностранному языку, это не абсолютный барьер — просто потому, что людей объединяют такие качества, как сострадание, любопытство и способность к мышлению. Великим идеям, изобретениям и открытиям лишь благоприятствовало столкновение культур, то есть необходимость проницать границы собственной культуры.

Вот что я всегда любил в Московской школе. Для меня она образец ценностей Просвещения. Хотя этим ценностям всегда бросали вызов (так, вероятно, будет и впредь), они не погибнут, пока живы люди, обретшие в них источник подлинного счастья.

Перевод с английского Марка Дадяна

^{*} Karl R. Popper. The Myth of the Framework. Cm.: Eugene Freeman (Ed.), Essays in Honor of Paul Arthur Schilpp. The Abdication of Philosophy, La Salle, Illinois (Open Court), c. 24.



Йон Викстрём, архиепископ-эмерит Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии

Корни демократической жизни в этике Лютера*

хорошо понимаю, что название моего выступления может показаться странным и неожиданным. Что профессор Мартин Лютер, этот бывший монах в Германии XVI века, мог знать о демократии? Требовавший безусловного послушания и подчинения монастырский устав и иерархическая церковь того времени, а также патриархальное общество наверняка предлагали очень мало предпосылок для понимания того, что такое демократия, не говоря уже о современной демократии. Как человек, владевший греческим языком, Лютер знал, что слово «демократия» значит «власть народа», но о том, что демократия значит в современном смысле, у него, конечно, не могло быть никакого представления. Несмотря на это, я постараюсь рассказать о тех корнях современной демократии, которые можно обнаружить в этике Лютера.

Влияние Реформации на общество

В 2017 году в разных частях света отмечалось 500-летие дела всей жизни этого человека. На церковных и государственных торжественных мероприятиях, научных симпозиумах, в сотнях книг, тысячах статей и докладов было представлено и проанализировано то, как этот мужчина смог повернуть ход истории не только в церковном смысле в так называемой западной, римскокатолической, ветви христианства, но также в политическом смысле в Европе.

Далее я представлю несколько мыслей о политическом значении Лютера сегодня, то есть 500 лет спустя после того, как он начал свою церковную и общественную реформаторскую работу. А именно похоже на то, что его

^{*} Выступление на семинаре Ассоциации школ политических исследований Совета Европы в Хельсинки 12 марта 2018 г.

следы можно обнаружить также в политической почве в тех странах, в которых церковная жизнь сформировалась в соответствии с духовным наследием так называемой Реформации.

В периодически составляемых международных рейтингах сообщается, что материальная обеспеченность и всеобщее благосостояние развились быстрее и достигли наивысшего уровня в тех странах, в которых влияние упомянутой Реформации было наиболее сильным. Такими странами являются, например, Германия, Швейцария и Нидерланды, а также все страны Северной Европы. Эти государства всегда занимают лидирующие позиции также в тех случаях, когда показателями и средствами измерения благосостояния наряду с экономическими факторами являются такие понятия, как уровень коррупции, доверие к государственным и официальным институтам, доверие между людьми и группами и даже ощущение ими себя счастливыми.

Называемый отцом социологии Макс Вебер уже более ста лет назад обратил внимание на это явление. В своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» он стремился продемонстрировать связь исключительно быстрого обогащения западных стран с их религиозными корнями. Он считал, что эти корни обнаруживаются в особенности в так называемой кальвинистской ветви Реформации, основанной на реформаторской деятельности Жана Кальвина в Женеве. Явно кальвинистскими странами являются в особенности Швейцария, Нидерланды и Шотландия. Когда речь идет о Германии и лютеранских странах Северной Европы, необходимо прояснить, в какой степени эти государства всеобщего благосостояния уходят своими религиозными корнями в лютеранскую ветвь Реформации?

Способность общества к обучению и развитию

Когда мы ищем причины успеха и благосостояния этих стран в экономическом и политическом смысле, стоит посмотреть, что является характерным для такой социальной организации, которой присуща высокая способность к обучению и развитию. В своей книге «Системное общество» (Systemsamhället, 1975) профессор бизнес-администрирования Лундского университета в Швеции Эрик Ренман выделяет два качества, которые, по его мнению, свойственны динамичной социальной системе, а именно демократия и открытость. В таких сообществах и странах новые идеи, опыт, знания, инновационные изобретения и открытия постоянно распределяются как среди людей, так и между элитой и членами общества. Так эти факторы развития получают возможность пронизать всю структуру общества, которое, в свою очередь, может постоянно учиться новому и развиваться. Противоположностью такой организации является авторитарная и иерархическая система, в которой свобода слова ограничена и распространение информации строго контролируется. Способность системы к обучению и развитию остается тогда очень низкой. Такая система обречена на стагнацию и отставание.

Исходя из этого, особое преимущество демократии и открытости с точки зрения экономического и социального развития заключается, по-видимому, в том, что в такой социальной системе знания, умения и другие личностные ресурсы людей могут релизовываться и развиваться и таким образом оказывать благоприятное влияние на жизнь сообщества. При авторитарном принуждении, когда свободы людей ограничены, большая часть этих ресурсов связана и остается неиспользованной.

Каким же тогда является такое общество и государство, в котором демократия и открытость могут высвободить человеческие ресурсы? Какие ценности и принципы являются ведущими и направляющими в таком обществе и государстве? На основании опыта государств всеобщего благосостояния Северной Европы мы даем следующий ответ: такими ценностями являются воодушевляющие путеводные звезды Великой французской революции и международного социалистического движения — к свободе, равенству и братству. Сегодня мы могли бы заменить слово «братство» словом «солидарность».

Про эти три ценности и идеалы Великой французской революции узнали всюду в Европе, но они не смогли реализоваться в полной мере во всех странах. Почему это произошло, по какой причине они осуществились наилучшим образом в протестантских, в особенности в лютеранских странах нашей части света? Потому ли, что именно в этих странах была такая духовная и религиозная почва, что эти семена, брошенные Просвещением и Великой французской революцией, смогли лучше всего взойти и дать урожай? Далее я попытаюсь с помощью нескольких примеров продемонстрировать, какие «удобрения» лютеранская Реформация распространила на полях Севера, превратив их таким образом в хороший источник роста.

Информационная революция

Опыт и уроки истории показывают, что авторитарная политическая или религиозная система, жестко управляемая сверху, начинает разрушаться, когда ее информационная монополия начинает расшатываться по мере того, как у людей появляется возможность получать информацию самостоятельно. Этот процесс наблюдался в конце XX века в Восточной Европе, когда коммунистическая система пала. Такие же изменения происходили в этом же регионе и в других частях Европы в начале XVI века, когда существовавшую там церковную систему постигла та же участь вследствие Реформации. В обоих случаях новая информационная техника позволила бросить вызов царившей системе и опрокинуть ее: в XVI веке — книгопечатание, в XX веке — новые информационные технологии. Сочетание идей Лютера и Гутенберга обрело в свое время огромную взрывную силу. С помощью недавно изобретенного Гутенбергом книгопечатания мысли Лютера распространились в княжествах Германии подобно лесному пожару. В народные массы нарастающим потоком хлынула информация об изъянах церковной и политической жизни, и

одновременно распространялись реформаторские идеи.

Однако источник самой мощной взрывной силы начатой Лютером Реформации содержался не в книгопечатании, изобретенном Гутенбергом, а намного глубже — в преобразовании информационного поля. Эта сила проистекала в основном из двух утверждений Лютера. Первое заключалось в том, что Библия как таковая настолько ясна, что каждый может ее читать и понимать без посторонней помощи. Со-



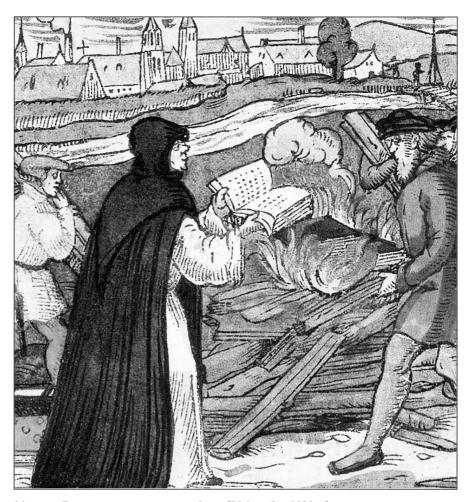
Мартин Лютер

гласно второму революционному утверждению Лютера, слово Божье само по себе обладает силой вне зависимости от того, кто его произносит и проповедует. Не нужен никто посторонний, кто мог бы придать этому слову необходимый авторитет и силу.

Это и было тем истинным фактором, который разрушил властные и авторитетные структуры тогдашней церкви в Германии. Не только обмен информацией между людьми, но особенно общение Бога и людей подверглись радикальному преобразованию. Теперь у людей словно появился прямой доступ к источнику Божьей воли и религиозных истин без посредников и толкователей.

Это предполагало, в свою очередь, то, что люди должны быть достаточно грамотными. В противном случае в получении знаний они постоянно зависели бы от помощи других. Программа лютеранской Реформации включала, таким образом, создание школ по всей Германии. Лютер сам отправил в ратуши всех городов письмо, в котором он призывал управы открывать школы, и не только для мальчиков, но и для левочек.

У описанной выше информационной революции в церковной сфере есть прямое соответствие в области политики. Одной из важных предпосылок демократии является именно прямой, осуществляющийся без посредничества политической власти, доступ людей к источникам информации, которая касается общества и условий личной жизни гражданина, то есть максимально свободная передача информации. Граждане должны иметь возможность формировать собственное представление о делах общества так, чтобы органы власти не руководили этим процессом, не ограничивали его и не осуществляли другие виды вмешательства в получение информации. В противном случае гражданам придется блуждать во тьме, и они не



Мартин Лютер сжигает папскую буллу [20 декабря 1520 г.]. Гравюра на дереве. 1557

смогут управлять ходом событий и нести ответственность за то, как они используют свою власть — будь то прямое ее использование или через избранных представителей.

Прямой доступ к источникам информации без помощи других предполагает, конечно, наличие достаточной грамотности в вопросах политики, и не только ее одной — наряду с грамотностью необходимо обладать также достаточным уровнем образованности. Лютеранские церкви проявляли особую заботу о народном образовании в прошлые столетия и таким образом создали важную основу для демократии в своих странах.

Совершеннолетие человека и общества

Утверждая, что человек может принять и понять слово Божье без посредничества любого священника и кого бы то ни было другого, Лютер провоз-

гласил человека совершеннолетним, то есть личностью, которая больше не нуждается ни в какой опеке в своем отношении к Богу. Согласно Лютеру, воля Божья открывается непосредственно человеку в Библии, как было сказано выше. Однако не только в ней, но также в том общем чувстве справедливости, которое он в соответствии с традиционной христианской верой называл естественным правом (the Natural Law, lex naturae). Такое общее чувство справедливости, согласно этому теологическому наследию, присуще каждой созданной Богом личности вне зависимости от ее вероисповедания, то есть не только христианам. В этой традиции — религиозная основа правового государства.

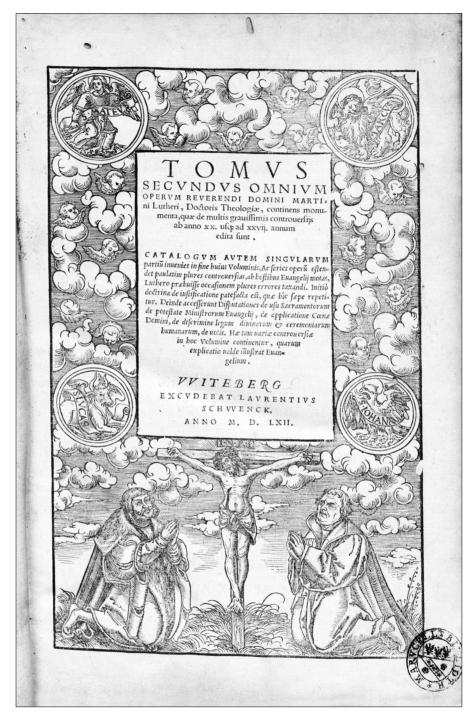
Таким образом, Лютер провозгласил совершеннолетним не только каждого человека, но также и общество. Общество тоже не нуждается ни в какой опеке в этических вопросах, то есть в вопросах, которые касаются моральных ориентиров общественной жизни. Уже только на основании своей принадлежности к роду человеческому и присущему ему чувству справедливости у наделенных властью лиц и политиков в обществе, по мнению Лютера, есть возможность получать напрямую знание о воле Божьей и о том, что правильно и неправильно. Задачей церкви тогда является напоминать власть имущим о том, что они и так уже должны знать благодаря своему разуму и совести.

В этом смысле Лютер очень четко разделил церковь и государство. Государство не должно находиться под опекой церкви. Оно должно быть самостоятельным этическим актором. И соответственно церковь тоже не должна быть на поводке у государства. Этот принцип был серьезно нарушен, как мы знаем, уже в период Реформации и в последующие столетия в лютеранских странах, когда в них возникали государственные церкви. Правители нуждались в церкви как в гаранте единства и стабильности государства.

Разум на службе у любви и справедливости

В североевропейских демократических странах всеобщего благосостояния ценности Великой французской революции — свобода, равенство и солидарность — в значительной степени реализуются в соответствии с рациональными принципами, что, пожалуй, не является случайностью. Оно тоже, по крайней мере отчасти, имеет религиозные корни, которые обнаруживаются в лютеранском наследии этих стран. Лютер как раз делал очень сильный акцент на значении разума в сфере морали. Спасение человека (salvation) в религиозном смысле, его искупление (justification) вне зависимости от его морального облика и поступков, когда милость ставится выше права, по мнению Лютера, абсолютно иррациональны. В то же время в повседневной жизни и деятельности христианина и любого человека разум обладает большой властью и гибкостью.

Причина этого, по мнению Лютера, заключается в том, что воля Божья проявляется на земле таким образом, что человек не действует согласно



Титульный лист 2-го тома сочинений Мартина Лютера. 1962

заранее данным отдельным правилам морали, но в соответствии с упомянутыми ранее естественным правом и общим чувством справедливости. Конкретное содержание этого права — отдельные требования и заповеди морали — проявляется, как утверждал Лютер, во взаимной зависимости людей и, таким образом, в потребности другого человека, так называемого ближнего (neighbour), в уважении и помощи. Эта взаимная зависимость значит для каждого человека призыв к тому, чтобы быть внимательным по отношению к другим людям и совершать поступки, исполненные любви. Заповедь любви, по мнению Лютера, таким образом, словно вписана во все сферы человеческой совместной жизни. Какими являются эти конкретные исполненные любви поступки, нельзя знать и перечислить заранее. Это становится ясно человеку, когда он использует свой разум и способность давать моральную оценку в соответствии с так называемым золотым правилом (the Golden Rule): «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф. 7:12). Так Иисус сформулировал это общее моральное правило, встречающееся во всех больших мировых религиях. Входя и вживаясь в положение ближнего, человек узнает, что любовь и справедливость в каждой новой ситуации значат и чего требуют.

В соответствии с основным этическим видением Лютера, Библию как неизменный и постоянный этический авторитет нельзя сравнивать с GPS-навигатором, который дает водителю подробные инструкции о том, как необходимо ехать, когда поворачивать налево, когда направо и так далее. Если в программе такого навигатора заложена устаревшая карта, водитель собьется с пути. Вместо этого Библию как этический проводник во все времена и во всех ситуациях можно скорее сравнить со слуховым аппаратом, который вне зависимости от изменившегося окружения помогает водителю слышать, с какой стороны доносятся крики о помощи, и который, таким образом, может направить автомобиль к нуждающемуся в помощи. Так происходит, если этот слуховой аппарат настроен в соответствии с библейскими общими и непреходящими заповедями любви и справедливости, а не согласно условиям и обычаям старого времени.

Это основное этическое видение имело решающее значение в процессе образования демократических государств всеобщего благосостояния. Оно означает, что общество должно строиться не в соответствии с какой бы то ни было детально разработанной идеологической или религиозной моделью, а согласно общим ценностям любви и справедливости, учитывая конкретные потребности людей. В этике акцент смещается, таким образом, с отдельных моральных правил на конкретные материальные и духовные потребности другого человека, так называемого ближнего. Североевропейское государство всеобщего благосостояния построено в основном в соответствии с этим гибким принципом, а не в соответствии с утопией, с заранее данными подробными казуистическими правилами морали; но такое государство возводили шаг за шагом, устремляясь ко все более гуманной жизни, рационально реализуя понятия свободы, равенства и солидарности. Так социальная этика Лютера привела к реформистской общественной политике, которая является типичной для североевропейского демократического государства всеобщего благосостояния.

Индивид и коллектив

Центральным в этике Лютера было не моральное облагораживание индивида, а связи между людьми, отношение индивида к другим людям и различным коллективам, таким как семья, трудовой коллектив и общество в целом. Это, по-видимому, важнейшая причина того, что его этические взгляды приобрели большое значение для семейной и трудовой этики, а также шире — для общественной этики.

Центральное положение в этике Лютера занимало представление о самом человеке. С точки зрения интеллектуальной истории Лютера часто считают человеком, заново открывшим индивида, особым поборником индивидуальности в нашей части света. Но индивидуализма он не поддерживал. Быть человеком, по мнению Лютера, значит всегда быть ближним для другого человека. Согласно Лютеру, человека нельзя помыслить без ближнего, ибо ближний входит в самоопределение человека.

Это представление о человеке органично связано с представлением о взаимной зависимости нас, людей, о чем уже упоминалось выше. Эта взаимозависимость означает проявление взаимной заботы, поступков, исполненных любви. Поэтому Лютер считал, что изолированный от ежедневного взаимного общения людей монастырь не является главным и самым благоприятным местом реализации человеческой и христианской любви. Такое место обнаруживается среди кастрюль на кухне, подгузников, лопат, пил и молотков — везде, где людям приходится работать не только ради себя, но также и на благо других. Положение и профессия каждого человека — призыв к такой служащей ближнему деятельности и жизни; это и есть призвание.

Слово «призвание» (calling, vocation), таким образом, занимало центральное место в этике Лютера. Всю его этику можно назвать этикой призвания. В работе, выполняемой по призванию, человеку необходимо проявлять преданность и честность, усердие и умение, потому что в ней он служит не только ближнему, но и самому Богу, который так заботится о своем творении.

Мысль о призвании естественным образом подчеркивает также идею равенства людей. Согласно учению Лютера, даже самая малозначащая, но с тщанием выполненная работа, направленная на служение ближнему, в глазах Бога так же ценна, как и самый великий подвиг. Нетрудно представить, как много такое отношение к работе как к ценности значит для этики трудовой жизни и для развития в странах Реформации.

У людей, согласно Лютеру, есть общее призвание к работе, направленной на поддержание любви и заботы. Будучи слугой и средством Божьей одаривающей любви и доброты, все общество и его политическое руководство, высокие чиновники, обладают, согласно Лютеру, обширной социаль-



Антон фон Вернер. Лютер на Вермсском сейме [апрель 1521 г. Фрагмент картины]. 1877

ной и культурной ответственностью, которая касается заботы о бедных и немощных, образования и так далее, иными словами, такой же совокупной ответственностью, как у отца семейства и хозяина дома. К бургомистрам всех немецких городов от Лютера поступил, как я уже сказал, призыв основать школы, и параллельно в городах стали учреждаться так называемые кассы для бедных, в которые жителей побуждали вносить средства. Общество не хотело бросать нуждавшихся в помощи людей и таким образом вынуждать их просить милостыню, которая случайна и унизительна. Совместными усилиями нуждавшимся в помощи необходимо было гарантировать более защищенное будущее. Только один шаг отделяет эти основанные на совместной ответственности граждан проекты от социальной политики государства всеобщего благосостояния, построенной на такой же основе.

Наряду со словом «призвание» центральное положение в трудовой и общественной этике Лютера занимает также слово «должность». Так же как и слово «призвание», слово «должность» (Amt по-немецки) выступает в качестве связующей нити между индивидом и коллективом. Посредством своего призвания и должности индивид становится членом коллектива. Слово «должность» обладает, таким образом, очень широким значением. Например, выполнение обязанностей отца или матери, по мнению Лютера, — такая же должность, как и работа бургомистра, учителя или врача.

Должность существует для коллектива, а не для занимающего эту должность человека. Должность подразумевает в первую очередь учет интересов коллектива, а не должностного лица. Лютер говорил, что должностному лицу запрещено «отождествлять свою личность с должностью». Должностному лицу нельзя использовать свою должность для продвижения своих интересов. С помощью этого принципа Лютер поставил мошный моральный заслон любой коррупции. Так он оставил очень важный след в этике служащих тех стран, которые являются носителями этического наследия Реформации.

От этих трех составляющих — представления о человеке, мысли о призвании и представления о должности — недалеко до равенства, братства и солидарности государства всеобщего благосостояния, равно как и до сознательности, усердия и честности, которые характерны для трудовой этики, благодаря которой построено общество всеобщего благосостояния. Рядом с упомянутой мною книгой Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» можно было бы, таким образом, поставить книгу, название которой могло бы быть «Лютеранская этика и дух государства всеобщего благосостояния» (Die lutherische Ethik und der Geist des Wohlfahrstsstaates). К этому я мог бы еще добавить, что, делая упор на большую ответственность власть имущих, учение о призвании каждого человека естественным образом служит созданию сильного государства, которое также может считаться одним из следов Лютера в концепции североевропейского общества всеобщего благосостояния. Сила и стабильность государства основываются на доверии граждан к тому, что призвание и задача облеченных властью заключаются в работе на благо всех граждан. И соответственно в обязанности граждан входит продвижение и поддержка государства путем соблюдения совместно разработанных и принятых законов.

Демократическая милость

Выше я попытался найти некоторые корни демократии в этике Мартина Лютера. Но очень возможно, что самые крепкие лютеранские корни демократии кроются еще глубже в теологическом мышлении Лютера, а именно в самом центре его реформаторской теологии. В Реформации речь шла в первую очередь о спасении человека, то есть о том, на каком основании грешный человек достигает связи с Богом и может обрести вечную жизнь.

Центральным словом и понятием в Реформации была праведность (righteousness), потому что согласно иудейской и христианской традициям только праведный человек может спастись. В таком случае решающий вопрос звучит так: как, на каком основании человек может достичь такой праведности, которая угодна Богу? Есть два варианта: человек может стать праведным либо благодаря своим поступкам, либо так, что Бог милостиво провозглашает и делает его праведным вне зависимости от его поступков



Эдуард Деба-Понсон. Утро [после Варфоломеевской ночи 24 августа 1722 г.] у ворот Лувра. 1880

и морального качества. Этот второй вариант был самым глубоким и всеохватывающим открытием и любимым делом Реформации Лютера даруемая Богом праведность, которую человек, веря в любовь и обетования Бога, принимает.

Когда человек провозглашается праведным по милости Божьей, а не на основании своих заслуг и моральных качеств, все люди располагаются на одной линии. Часто Лютер повторял одно центральное место из Послания апостола Павла к Римлянам, в котором эта мысль звучит особенно явно: «...потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе... да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим. 3:23, 24, 26). Все одинаково грешны. Все одинаково зависимы от милости Божьей. Все, кто принял эту милость, одинаково праведны в глазах Бога. В этой радикальной проповеди о равенстве людей кроется, насколько я понимаю, очень важное зерно демократии. Где хозяин и батрак, хозяйка и служанка вместе услышали это послание в церкви, там брошено взрастать семя равенства и демократии. Забота демократического общества всеобщего благосостояния также о тех, кто в глазах людей самые бесполезные и не представляющие ценности граждане, является ясным выражением реформаторского учения о Божьей любви и милости по отношению даже к самым не заслуживающим их людям.

Следы Реформации в секулярном государстве

После всего сказанного необходимо ясно заявить, что Лютер не был демократом. Он был человеком своего времени во многих смыслах, сыном патриархального мира и духа. Патриархальные и иерархические структуры ограничивали реализацию его этических представлений. Так. даже в протестантских странах семенам демократии суждено было пребывать в скрытом состоянии под патриархальной оболочкой еще почти пару веков.

Употреблю другую метафору и скажу, что хотя под патриархальной оболочкой и находился динамит демократии, однако детонатор отсутствовал. Никакого взрыва, который выбросил бы семена демократии и подтолкнул их к прорастанию, не происходило. Только начавшаяся в XVII веке эпоха Просвещения принесла с собой этот необходимый детонатор.

Однако только в конце XIX — начале XX века из семян и корней демократии начали произрастать побеги, которые могли принести урожай. Начавшееся в эпоху Возрождения и продолжавшееся в период Реформации освобождение человека от опеки, а также его взросление на пути к совершеннолетию и независимости достигли точки, в которой человек был готов нести ответственность за себя и использовать свою власть для построения демократического и уважающего права человека общества.

А в эпоху Просвещения начался еще более целенаправленный поиск уже рациональных обоснований морали и правового порядка общества. Это означало, что в сфере морали в будущем должно было появиться множество ценностей и представлений, в пользу которых могли быть высказаны как религиозные, так и рациональные аргументы, что было особенно ясно продемонстрировано во Всеобщей декларации прав человека, принятой в ООН в 1948 году. Сосуществование религиозных и секулярных ценностей не стало, однако, хоть сколько-нибудь большой проблемой в лютеранских странах, потому что Лютер в своем этическом мышлении принадлежал к той старой христианской традиции, которая оставляет разуму пространство и отводит ему важную роль в этической сфере. Поэтому активно происходившая в XX веке секуляризация не смогла стереть следы Мартина Лютера в протестантских демократических странах.

Современное правовое государство всеобщего благосостояния является, таким образом, общим ребенком Возрождения, Реформации и Просвещения, и у него очень старые предки, дедушки и бабушки, которые жили в милосердном Иерусалиме, рациональных Афинах и правовом Риме.

Гражданское образование в контекстах мировой истории*

Нацистская версия гражданского воспитания

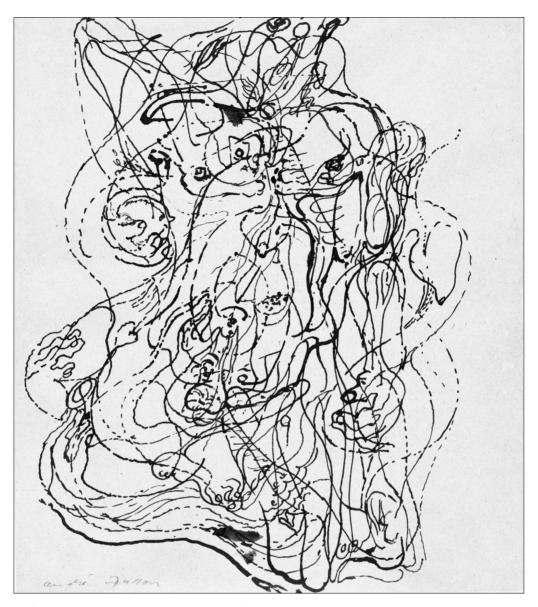
Кривая истории Германии в XX столетии была куда более сложной, чем в России. Кроме того, как это ни парадоксально, немцы и после парламентских выборов 1933 года, а затем прихода к власти Гитлера в известном смысле оставались приверженными своим образовательным традициям, разумеется, консервативной направленности.

Примечательно, что на рубеже XIX-XX веков имперские власти Германии были крайне насторожены, если не сказать враждебны ко всякому политическому образованию народа. Возможно, в силу еще не стершейся памяти о былых революционных потрясениях и, разумеется, из-за обоснованных страхов, связанных с крепнувшим социалдемократическим движением. Преподавание новейшей истории и обществознания (даже в форме простого разъяснения основ конституционного строя) было попросту запрещено. Современники крайне удивлялись политическому невежеству немецкого среднего класса в канун мировой войны. Особенно в сравнении с просвещенной «продвинутостью» французов, у которых гражданское образование было законодательно закреплено как обязательное для средних школ¹. В учительском корпусе империи действительно было немало педагогов, симпатизирующих социалистической идее и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в частности. Кайзеровские чиновники логично полагали, что если допустить уроки гражданственности в школе, то эта «зараза» быстро распространится в городских массах. А политическая цель империи была прямо противоположной максимально снизить число сторонников социалистической идеологии.

В 1901 году известный баварский педагог Георг Кершенштейнер (1854–1932) был награжден специ-

Александр Согомонов, академический директор Центра социологического и политологического образования Института социологии РАН

^{*} Окончание. Начало см.: № 2–3(68), № 4(69) 2015; № 1–2(70) 2016; № 3–4(73) 2017.



Андрэ Массон. Автоматический рисунок. 1924

альной премией за свое эссе «Как наилучшим образом подготовить молодежь к гражданству?». Этот, пусть и весьма небольшой, текст быстро обрел популярность и среди учителей считался очень авторитетным. В нем Кершенштейнер напрямую увязывал гражданское образование и профессиональную подготовку детей, понимая под ней прежде всего развитие навыков ручного труда. Согласно

его логике, ребенок должен освоить необходимую для государства профессию и затем в соответствии с рабочими навыками осознанно включиться в общественные процессы, понимая ответственность перед гражданами и рейхом в целом. Минимум научных знаний, максимум умений и способностей, чтобы получить радость от служения государству такова квинтэссенция педагогического учения Кершенштейнера. Для этого, по его мнению, необходимо было культивировать простые гражданские качества: старательность, сознательность, чувство ответственности, силу воли, преданность отечеству². Нет необходимости говорить, насколько уже тогда этот подход контрастировал с западноевропейским либеральным пониманием гражданских ценностей и гражданским образованием вообще.

И все же поразительное déjà vu! Буквально эти же мысли повторит за ним Н.К. Крупская через полтора десятилетия в своей брошюре «Народное образование и демократия» (1915), превратив их в развернутую большевистскую концепцию трудовых школ и трудового воспитания³. А впоследствии этот же «моральный код» большевики выдадут за подлинно «гражданский» для всех жителей Союза. В 1930-е годы нацисты реинтерпретируют эту нехитрую просветительскую доктрину в известном лозунге «Arbeit macht Frei» (Труд освобождает)*, полностью адаптировав кершенштейнеровскую систему ценностей. Таким образом, большевики и нацисты вслед за великим баварским педагогом ставили труд (ручной) в самый центр воспитательного процесса.

В 1911 году прусское Министерство образования издает довольно строгую инструкцию об основах гражданского просвещения в средних школах, которое осуществлялось как в виде учебных программ, так и в форме ознакомительных посещений государственных и публичных учреждений. И практически тотчас же инициирует специальные курсы для учителей, курировавших гражданскую дидактику в школах. При этом общий тон инструкции вполне соответствовал тогдашним ожиданиям кайзера: культивировать в детях обязанности, а не права; воспитывать лояльность, а не критическое мышление. Первая мировая война добавила к этому еще и мощный патриотический пафос. И, собственно говоря, те дети, которые были воспитаны в кайзеровском гипертрофированно лояльнопатриотическом духе во время войны, к началу 1930-х годов вошли в самостоятельную взрослую жизнь и были, очевидно, «неплохо» подготовленными к адекватному восприятию радикальной нацистской пропаганды⁴.

Политики и чиновники от образования в краткий период существования Веймарской республики (1919-1933), с одной стороны, пытались предложить обществу открытую и, безусловно, антиимперскую модель политического образования, но с другой — так и не смогли уйти от метафизики немецкого национализма. В их Конституцию впервые была введена норма (статья 48) об обязательности гражданского просвещения в школах: воспитание у подростков гражданских чувств и тщательное изучение Основного Закона. И это был беспрецедентно отважный поступок властей за всю новую политическую историю Германии. В то же время они по старинке опирались на философию трансцендентальной сущности «духа» немецкого народа, которую якобы должны были разделять как граждане республики, так и все немцы, проживающие за ее пределами. Республиканские образовательные учреждения никак не боролись с массовыми реваншистскими настроениями, и более того, их сознание не покидала идейная доминанта культа силы, войны и мести за несправедливый Версальский договор. Национальная травма грозила трансформироваться в новое националистическое движение, вскормленное на консерватив-

^{*} Этот лозунг венчал ворота нескольких концлагерей в нацистской Германии, возникших уже в 1934 году. — Прим. ред.

ных идеях И. Фихте и немецких романтиков.

Все эти культурно-психологические настроения «униженной нации» чутко уловил Гитлер и стал активно использовать их в своей деятельности уже в 1920-е годы. Ресентиментальные переживания своих сограждан он умело использовал в целях быстрого накопления личного политического веса и формирования партийных навыков императивной суггестии и управления массами. И уже к началу 1930-х годов он вполне мог положиться на «надежный» человеческий ресурс: сложилось целое поколение немцев, готовых вновь слиться с государством и противопоставить свою монолитность остальному миру.

Фашистская машина конструирования тоталитарного индивида начала активно формироваться задолго до прихода Гитлера к власти. Уже в 1922 году им был основан Национал-социалистический союз молодежи, впоследствии переименованный в Hitlerjugend, который после 1933-го был передан в ведение Министерства образования. С приходом же к власти фашисты четко определили для себя в качестве приоритетной внутриполитической задачи перевод всей страны с рельсов либеральной (веймарской) модели гражданского образования на тоталитарную (национал-социалистическую) модель. Полезно вспомнить, что ведомство Геббельса не случайно именовалось Министерством пропаганды и народного просвещения. А главным идеологом нацистской модели гражданского воспитания выступил Эрнст Крик (1882–1947), философ и социальный мыслитель, заложивший основы фашистской философии образования, основанной на немецкой идее государственности, политической мифологии «расы» и «крови».

Буквально в течение нескольких месяцев национал-социалистическое мировоззрение заполнило собой все идейное и мето-

дологическое пространство школьного образования. Старые программы были отменены или переписаны, расставлены «правильные» акценты. Все усилия новых правителей Германии были направлены на формирование образовательной среды максимальной лояльности новому порядку и воспитание новой генерации политически сознательной молодежи в поддержку властного режима нацистов сознательность, которая отныне измерялась неразделенностью судеб человека и государства, готовностью каждого немца к самопожертвованию во имя интересов тоталитарной власти. На работу нанимали педагогов прежде всего исходя из соображения политической целесообразности, а членство в партии со временем стало чуть ли не единственным критерием для приема на учительскую работу. Печатание учебников со временем было поручено одному издателю, а их содержание подвергалось жесткой идеологической цензуре. Словом, все как в Советском Союзе того же времени.

Школьные программы, конечно же, отчасти конструировались отвлеченно от идеологии нацизма (в зависимости от учебной дисциплины), но так или иначе они должны были отвечать трем главным приоритетам фашистской логики воспитания базовых «нацистских чувств» у немца:

- гордость за немецкую армию и готовность к воинскому самопожертвованию (милитаризм);
- преклонение перед фюрером (вождизм);
- чувство превосходства немецкой нации (расизм).

Последнее особенно активно формировалось на уроках истории и биологии, даже на уровне начальной школы. Из учебных курсов беспощадно вычеркивалось все лишнее и ненужное, то есть не работающее на главную цель — формирование тоталитарной личности. И, как было уточнено в одной из образовательных

инструкций, — личности, «служащей народу и государству»5.

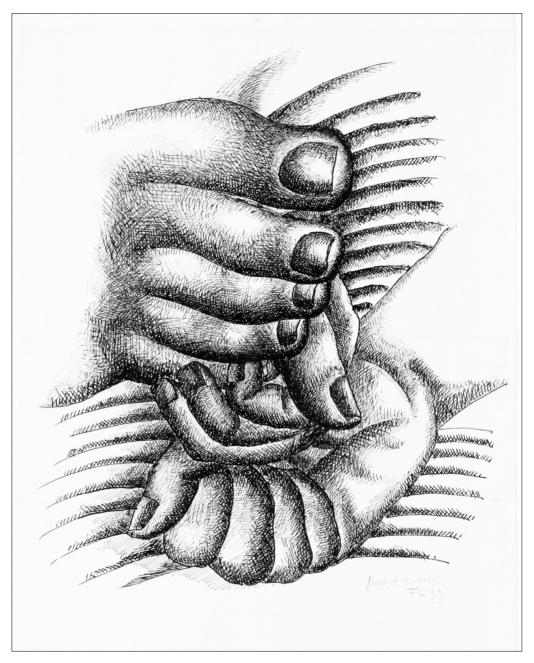
Послевоенная денацификация Германии распространилась в том числе и на сферу образования и гражданского просвещения, дав толчок разгосударствлению человека. По крайней мере в западной части бывшего Третьего рейха этот процесс пошел решительно и бескомпромиссно, в восточной же части, при внешней смене политического режима и идеологии, насилие и индоктринация как механизмы гражданского просвещения сохранили свою значимость еще для двух-трех поколений немцев.

Встает вопрос: насколько универсальным был воспитательный алгоритм в тоталитарных режимах? Воспитательная деятельность в советской школе довоенного времени по большому счету опиралась на эти же три приоритета, что и нацистская идеология: армия и сила, лояльность к партии и культ Сталина, безусловное превосходство «советского человека» над остальным человечеством (правда, до антропологического расизма дело так и не дошло).

Сходство обнаруживается и на институциональном уровне. И там и там гражданское воспитание обретает прочную организационную оболочку в форме тоталитарных молодежных движений, то есть в данном случае охватывающих буквально всех детей и подростков, вовлекаемых в орбиту государственного образования. Обязательность участия в том или ином движении представляла собой несомненное институциональное и идеологическое насилие, избежать которого было практически невозможно. Оставалось лишь одно из двух — уйти в себя или скитаться по стране, но это удавалось лишь единицам. В Советском Союзе такое участие предполагало организационную трехступенчатую схему с четкими возрастными границами (октябрята, пионерия, комсомол). В Германии же кроме схожей возрастной градации молодежные движения делились еще и по гендерному принципу. Юноши и девушки проходили идеологическую социализацию порознь. Масштабы вовлечения мололежи в политические движения поражают воображение. К примеру, только в 1938 году в Германии в той или иной форме более 50 млн молодых людей приняли участие в централизованно организованных политических акциях.

Главная воспитательная задача, которая таким образом решалась в обеих странах, заключалась в культивировании в массовом сознании молодых поколений установки на их абсолютную включенность в коллективы. Тоталитарные режимы не допускают индивидуализма и автономного гражданского общества как пространства свободных ассоциаций людей. Им свойственно не общество независимых индивидов, а совокупность атомарных субъектов, принуждаемых к повседневному существованию в контролируемых властями множественных коллективах, тоталитарных микрокосмах (партийных, трудовых, профессиональных, отраслевых, образовательных, досуговых, отчасти и территориальных, и др.). Они последовательно в своих системах гражданского воспитания реализуют скорее фихтеанский национально-патриотический взгляд на цели образования (подготовка ребенка к взрослой жизни для функционирования в качестве полезного члена общества, подменив, правда, фихтеанское общество на государство), нежели гумбольдтовский либеральный подход (образование как ключ к самореализации и развитию личности). Индивидуализм расценивался как деструктивный фактор, разрушающий национальную жизнь и представляющий серьезную угрозу для безопасности тоталитарного государства.

Не случайно, видимо, слова «народ» и «массы» (тоталитарный макрокосм)



Фернан Леже. Нога и руки. 1933

были наиболее популярными и адекватными для режимов политическими терминами. Однако подобная технология господства, как показал опыт буквально всех тоталитарных стран, в долгом цикле не формирует «коллективиста» как альтернативный индивидуализму антропологический тип современного гражданина. Люди при тоталитаризме, как правило, остаются одинокими псевдогражданами, несмотря на все ритуальные перформансы коллективизма, товарищества и братства. Они были лишены всякой возможности свободной горизонтальной самоидентификации себя с себе подобными во имя сотрудничества и свободного развития (рациональное гражданство). Напротив, они должны были раствориться «без осадка» в тотальной общности «народ» (трансцендентальная общность «МЫ»). И если горизонтальные гражданские идентичности были табуированы, то принадлежность к коллективам и народу в целом, собственно, и выступала главным предметом гражданского просвещения и главной заботой властей.

В специальной литературе до сих пор продолжается дискуссия относительно того, была ли нацистская система гражданского воспитания абсолютно аутентичной и прерывающей эволюцию предшествующей немецкой традиции? Или она впитала в себя старые консервативные конструкты гражданственности, псевдогражданской идентичности и метафизику немецкого «духа», извратив эти идеи и доведя их до абсурда? Ту же дилемму предстоит разрешить и исследователям советской воспитательной традиции. Как бы ни развивалась научная дискуссия, очевидно, что тоталитарное конструирование гражданина не возникло вдруг, как воспитательная практика «с нуля». Это были просветительские антиутопии, обращавшиеся к наиболее консервативным дидактическим источникам. Они презирали либеральные ценности и идеалы, полностью отрицали свободу и права человека. В этом смысле их природа и инструментарий для всех тоталитарных стран были сущностно $едиными^6$.

Впрочем, одно принципиальное философское отличие все же просматривается сквозь историческую завесу времен, если рассматривать большевизм и нацизм. И большевики, и нацисты стремились создать человека «высшего типа», только если первые для «освобождения» всего человечества, то вторые во имя установления расового господства и

новой расовой иерархии в мире. Если в Советском Союзе человек воспитывался как новый гражданин, коллективный субъект бесклассового общества, то в нацистской Германии — как член расового объединения арийцев. Оба проекта гражданского образования исходили из философского допущения возможности «переделки» традиционного человека и потому представляли собой альтернативный сценарий нелиберальной модернизации личности и общества⁷.

Концепция «нового человека» позволяла большевикам преодолеть отсталость и считать себя авангардом всего мира. В нацистской же Германии эта концепция способствовала противопоставлению Германией себя остальному расово неполноценному миру, и либеральной Европе в первую очередь. Иными словами, «новый человек» Советского Союза воплощал в себе в известном смысле универсальный, гуманистический идеал и предлагал его всему человечеству, нацистский же «новый человек» был сконцентрирован сугубо на превосходстве арийского расового сообщества и представлял только себя. Советская воспитательная практика активно опиралась на западный опыт, в особенности философию Просвещения. Немецкий же человек полностью отвергал Запад во имя исключительной приверженности немецким ценностям. И «если советские идеологи нового человека трудились над его душой, то их немецкие коллеги работали над его телом во имя служения нации»⁸. Это фундаментальное отличие в социальной философии обоих режимов делало их, безусловно, отличными друг от друга, несмотря на тождественность воспитательных и просветительских инструментов и средств. И, как мне кажется, именно это объясняет принципиальную разницу в исторической памяти об этих двух тоталитарных экспериментах ушедшего столетия — правого и левого тоталитаризма.

Контекст 7, незавершенный: космополис и гражданское образование в век глобализации

В настоящее время происходит творческое разрушение легитимного миропорядка, при котором доминировали национальные государства.

Ульрих Бек. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. 2002

Рубеж тысячелетий символически совпал с началом новой эпохи в истории мировой цивилизации, которую мы попрежнему, за неимением лучшего названия, именуем глобализацией. Куда она нас приведет, сказать сложно хотя бы потому, что многое в ней неясного и непрозрачного в ценностях и смыслах. Очевидно пока лишь одно: старый мир привычных и понятных нам социальных и культурных значений рассыпается как карточный домик, в том числе и под влиянием новейших технологий.

Тема «конца», как это однажды уже случилось в новой истории более 100 лет назад на исходе XIX века (fin de siècle), вновь становится популярной, причем как в академической науке, так и в публичном дискурсе. Исторический «закат» предрекают не только многим современным институтам (национальному государству, университету, школе, либеральному рынку, финансовым схемам, банкам и т.д.), но и универсальным ценностям тоже, пророчествуя «поминки» по Просвещению.

Конечно же, не забывают мыслители нашего времени и о «гражданстве» как о философском и общественно-правовом феномене всего проекта «Современность» (Модерн). При этом какие бы ни ставились финализирующие «диагнозы», всех участников мировой дискуссии объединяет один, чрезвычайно важный и фундаментальный посыл: в условиях глобализации неизбежно трансформируются и сама концепция гражданства, и классическая модель гражданского образования¹. Главное по-

нять, каким образом пойдет этот процесс, в каком направлении и к чему все это может привести.

Вспомним: в греческом ли полисе, ренессансной республике, национальном или тоталитарном государстве — везде гражданство означало в первую очередь юридический статус, регламентируемый самим государством, а также особенные социокультурные «узы», связывающие власть и личность. Соответственно гражданское образование трактовалось как дидактический инструмент для гражданского «наставления», а порой и очень жесткой привязки личности к государству. Впрочем, начиная с Просвещения идея «гражданства» (теория + практика) постепенно обретала все новые и новые значения и в какой-то момент уже во второй половине XX века под давлением всевозможных меньшинств, активно защищавших свою идентичность, перестала умещаться в простую формулу адекватности универсального гражданина своему государству и его Конституции.

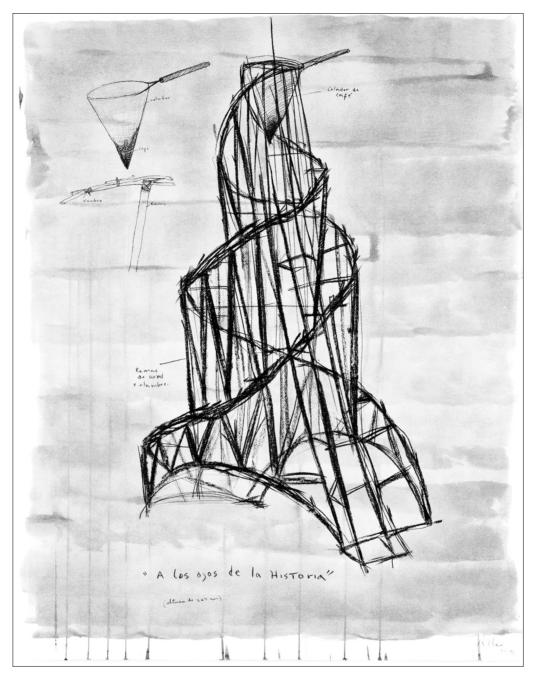
И в конце концов эта идея вышла из сферы монопольного и исключительно властного контроля. А уже в текущем столетии «социальное» и «культурное» гражданства и государство в буквальном смысле уравнялись в своих правах и притязаниях на то, чтобы регулировать человеческие отношения, общественную мораль и ценности. В итоге идея «гражданства» перестала быть унитарной, обретя актуальные множественные смыслы² и отчетливые контуры космополитизма³.

Но здесь мы наблюдаем очевидный семантический диссонанс, ибо «гражданство» в его изначальном суверенном значении вступает в конфликт с актуальной идеей «гражданина мира». Двусмысленной представляется ситуация даже в Европе, где гражданство ЕС выступает с точки зрения классического подхода к проблеме гражданства как надуманный фантом, ибо нет такого государства «Европейский союз». А псевдофедеративное устройство объединенной Европы, напротив, все чаще подвергается политическим атакам как извне, так и изнутри, что вынуждает европейских политиков вводить особые курсы мультикультурного гражданского образования для всех стран — участниц ЕС. Впрочем, это головная боль далеко не только объединенных европейцев⁴. Весь глобализированный мир с социологической точки зрения предстает в нашем научном воображении перевернутым с ног на голову, а посему и непривычным для шаблонного восприятия и просвещения.

Прежде всего само понятие «общество» как нечто статичное в социальном и политическом смыслах, пусть даже и на какой-то небольшой временной отрезок, утрачивает научные основания. Люди перемещаются сегодня с такой невероятной интенсивностью и постоянством, что применять к ним классические гражданские стандарты имеет все меньше смысла, а это, в свою очередь, сказывается на гражданских практиках и, что особенно важно, делает национальную модель гражданского просвещения бессмысленной и отжившей свой век. Более центральной урбанистической «единицей» отныне становятся космополисы. Интернациональных городов было немало и в предшествующей истории Запада и Востока, однако они скорее представляли собой исключения, чем норму. Сегодня же космополитичными по сути и составу населения становятся не только крупные, но и вполне ординарные по размерам города нашей планеты. Пусть еще и не везде, но этот общий тренд однозначно указывает на грядущую этнокультурную гетерогенность городов мира⁵. А значит, и городское соседство, и само гражданство постепенно становятся по сути своей космополитическими.

Известный британский социолог Джон Урри вообще предлагает отказаться от понятия «общество» — причем не только в академических исследованиях, но даже и в публичном дискурсе — как от утратившего всякий raison d'etre. Ибо вместо общества и привычных социальных связей внутри него, по его мнению, мы наблюдаем сегодня бесконечные «потоки» — людские, информационные, денежные, интеллектуальные и т.д.6 Эти потоки лишены статичности и тем более устойчивости и стабильности. Граждане мира перемещаются в этих потоках из одного состояния в другое, сталкиваясь с разной внешней обстановкой, будь то культура или уклад жизни. Отношение к гражданству становится более легким и менее ответственным, а иметь по нескольку гражданств не просто модно, но порой и жизненно необходимо. Гражданство постепенно превращается в коммерческую услугу, котирующуюся на всех пространствах глобализации. Подобное «текучее» гражданство — большой вызов классической концепции гражданства и традициям гражданского образования в пелом.

В Новое время космополисами становились только те индустриальные метрополии, которые свои стратегии совершенно осознанно строили на открытости и политике гостеприимства (к примеру, Нью-Йорк, Барселона, Амстердам, Шанхай). Сегодня же даже относительно закрытые к внешнему миру города благодаря неуправляемым потокам гастарбайтеров и студентов, беженцев и мигран-



Качо (Алексис Лейва Мачадо). Взгляд в историю. 1992–1995

тов, бездомных и туристов неизбежно превращаются в мультикультурные города⁷, где в одних случаях люди становятся «негражданами», в других — неадаптированными диаспорами, в третьих — временными резидентами. И это далеко не все сценарии трансформации граж-

данства. Миллионы людей перемещаются из страны в страну со средним периодом проживания в них от двух до шести месяцев. Современные ІТ-технологии позволяют им работать дистанционно, а жить там, где захочется. Главное — насколько удобно и эффективно эти

«места» соединены между собой («коннектография»)⁸. Классическое соседство разрушается, а горожане уже практически не знакомы и не взаимодействуют друг с другом⁹. А тем временем ценностный разворот, связанный с развитием постматериалистических приоритетов, плюрализма, с жизненной установкой все большего числа людей на самореализацию, индивидуальную экономическую и социальную активность, толкает мир ко все новым переменам, скорость которых будет только нарастать.

Уже сегодня не так актуален вопрос о тех типах гражданской культуры, которая складывается в таких городах-коннектах, сколько о новой «повестке дня» гражданского образования для мультикультурного и чрезвычайно динамично меняющегося глобального мира. Современный контекст гражданского образования исторически не закрыт, но в нем отчетливо проявлены несколько принципиально новых мегатем, которые задают векторы мирового развития. Вот лишь некоторые из них.

Гражданская идентичность и столкновение культур

Фундаментальной задачей традиционного гражданского образования была культурно-правовая консолидация «нации», особенно в тех странах, где сожительствовали территориально дифференцированные этносы. Генеральная просветительская стратегия во всех современных странах заключалась в переподчинении этнической → гражданской идентичности («нация-государство»). Неважно при этом, какая тактика в каждом конкретном случае возобладала: республиканская (школа «гражданского долга» и/или государственного патриотизма) или либеральная (школа «гражданских прав» и политического равенства).

Нечто принципиально иное мы наблюдаем сегодня. Коммунитаризм на Западе и фундаментализм в странах Востока сформировали идеологическую платформу для нового вектора в гражданском образовании, когда гражданские обязанности воспитываются прежде всего в отношении тех сообществ, к которым непосредственно принадлежат молодые люди (так называемое ближнее окружение). А это значит, что формируемые у них идентичности не чисто этнические и не национально-гражданские, а располагаются в самом широком спектре локальных сценариев: местные, городские, мегаполисные, субтерриториальные и т.п. Они уже несравненно менее жесткие, чем ранее были национальные или этнические, и основаны на гораздо большей свободе выбора. И главное, они позволяют индивиду в условиях глобализации и высокой мобильности, в том числе в ситуациях перманентных потоков, с легкостью переключаться с одного регионального сообщества на другое, не привязываясь сильно ни к чему традиционно общинному и уж тем более «гражданско-

Британский исследователь Дерек Хитер считает, что все сегодняшнее страноведческое многообразие практик гражданского образования так или иначе подпадает под одну из четырех метамоделей: (1) либеральную (эмансипационную, «школа прав»), (2) республиканскую (авторитарно-консервативную, «школа долга»), (3) коммунитарную (сегментированную и локально ориентированную) и, наконец, (4) смешанную, интегрирующую элементы предшествующих трех¹¹. Причем, добавлю от себя, в каждом случае конкретная модель складывается и эволюционирует не только сообразно своим историческим традициям, но и эмерджентно, то есть в результате внезапно сложившегося свободного политического или культурного выбора в образовательном опыте. Впрочем, если проводить тщательный анализ, то мы вряд ли обнаружим буквальное соответствие идеальных моделей и реальных практик гражданского образования по всему миру. Но эту развилку всегда следует учитывать, принимая во внимание характер гражданского транзита, переживаемого нашей пивилизапией.

Разумеется, гражданское образование в наше время — явление гораздо более сложное, чем оно было в XIX—XX веках. Оно исключает простые и наивные гражданские «истины», индоктринацию, прямое общественно-политическое наставничество, идеологическое насилие и т.д. Напротив, куда в большей степени оно полагается на признание сложности мира и его культуры, плюрализма и мультикультурализма¹², особой значимости индивидуальной гибкости и критического мышления, хотя власти никогда не забывают про свой легитимационный интерес.

Эти ориентиры могут быть приняты государствами и школами и последовательно проводиться в жизнь, как в большинстве развитых западных стран, признающих и уважающих право на индивидуальное «авторство» в гражданском просвещении. Но могут и сопровождаться разными латентными влияниями, подобно культурно-идеологическому внушению (суггестии), скрытой пропаганде и даже государственному принуждению, как, к примеру, в России и некоторых других посткоммунистических и постколониальных странах, по-прежнему ориентированных на централизованное управление сверху всем гражданским образованием в своих странах.

Впрочем, сегодня какой модели вы ни следовали бы, вас неизбежно будет сопровождать разочарование в эффективности (или даже в правильности) выбранной вами политики в сфере гражданского образования. Культурные и этнические идентичности крайне редко сосуществуют друг с другом бескон-

фликтно, порождая кризисы и усложняя внутренний порядок. Практически во всех странах так называемого продвинутого и развивающегося миров мы наблюдаем чаще всего национально или даже этнокультурно ориентированные практики гражданского просвещения, что указывает на существенное отставание гражданского образования от скорости перемен в мире. А еще корректнее: свидетельствует о глубинном конфликте локальной гражданственности и глобальной культуры.

Образование для «Европейского гражданства»

Так можно было бы обозначить одну из самых значимых для условий глобализации программу гражданского просвещения, хотя формально, как уже было отмечено выше, такого национального государства, как ЕС, не существует. Само понятие впервые зафиксировано в европейских документах 1976 года¹³, но его смысл и наполнение конкретным содержанием постоянно менялись и корректировались. Примечательно, что речь тогда и сегодня не идет исключительно о гражданах стран — членов ЕС, а о некоем абстрактно воображаемом феномене более глубокого значения — глобальный «европеец»¹⁴.

Конечно же, практика реализации этой программы рассчитана была прежде всего на тех европейцев, кто de jure был включен в Союз (с 1993 года) с целью переформатирования гражданского сообщества Европы с этнонационального уровня на наднациональный, но чуть позже также и на постоянно увеличивающиеся афро-азиатские субстраты внутри Европы. И надо сказать, что эта задача была в основном решена к концу прошлого столетия, несмотря на все усиливающееся сопротивление со стороны попрежнему еще сильных национально-

консервативных групп. Но очевидно, что европейский национализм образца XIX-XX веков вряд ли сегодня сможет стать в объединенной Европе лидирующей силой. Слабость же программы стала осознаваться лишь тогда, когда в ее орбиту постепенно включились бесконечные

потоки бежениев и мигрантов, но здесь пока еще рано давать взвешенные оценки, ибо будущее европейских миграций сложнопредсказуемо.

Программа образования для «Европейского гражданства» предполагает в первую очередь «обучение Европе», то есть всеобъем-

лющее и междисциплинарное изучение Европы как школьного предмета, а также масштабные взаимные посещения жителей стран-участниц друг друга. Европейская Ассоциация учителей в 1989 году предложила свои методические рекомендации, как формировать в молодом поколении адекватное понимание Европы (институтов ЕС, в частности) и приоритетную европейскую самоидентификацию, причем с попутной ответственностью в более глобальном смысле за весь мир. Это все означает, что стержнем программы становился мегапроект пробуждения самосознания «как быть европейцем» с сопутствующими минипроектами гражданского образования. И эту сосредоточенность на европейских контекстах несложно увидеть буквально во всех учебных пособиях школ и вузов, где европейская идея и ценности пронизывают их системно.

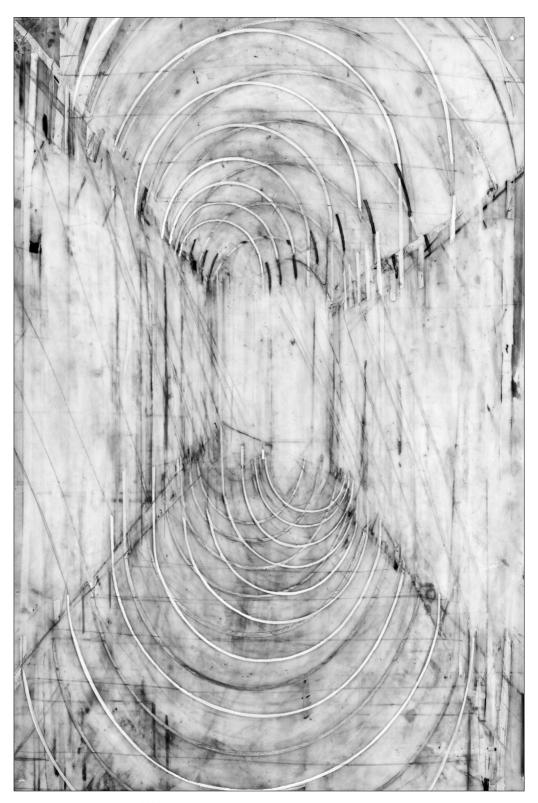
Показательно, что в эти же годы в США политики озаботились приблизительно тем же самым. Департамент образования в 1983 году публикует доклад «Риски нации», который был сосредоточен на анализе ситуации в сфере американского образования. В нем говорилось о необходимости структурной реформы всей сферы, и среди шести фундаментальных целей обновления две непосредственно касались гражданского образования и формирования нового поколения «ответственных граждан» Америки. И уже в 1990 году был учрежден федеральный

Сосредоточенность на европейских контекстах несложно увидеть буквально во всех учебных пособиях школ и вузов, где европейская идея и ценности пронизывают их системно

> Центр гражданского образования, задачи и контент деятельности которого были практически тождествены программе образования для «Европейского гражданства» Старого Света¹⁵.

> Но вернемся в ЕС. Образовательные акты, принятые на рубеже 1980-1990-х годов, по существу сделали гражданское образование в Европе стержневым на всех ступенях обучения. Не главным, а именно стержневым, то есть концентрирующим дидактическое внимание школяров и педагогов на понимании, знании и самоидентификации в отношении общеевропейских институтов, права и культуры гражданственности. И это стало важным историческим «разрывом» со всей предшествующей западной педагогической традицией, так называемым прощанием со школьным Модерном, как сформулировал этот транзит более 20 лет назад британский исследователь Мартин Лон¹⁶.

> Однако принятый Европейской комиссией принцип субсидиарности парадоксальным образом мешает скоординированной реализации этой программы, поскольку ответственность за содержание и методологию гражданского образо-



Ева Ашхейм. Укрытие. 1999

вания перенесена на уровень суверенных национальных государств, а с недавнего времени еще и на более низкую административную ступень. За Комиссией остается лишь рекомендательное право, которое она усердно реализует, постоянно публикуя всякого рода методические материалы. Но право выбора — всегда за еврорегионами. Трудно сказать, связан ли с этой регионализацией гражданского образования рост сепаратизма и консервативно-земляческих настроений во многих странах ЕС. Но очевидно, что в последнее десятилетие Европа столкнулась с нарастанием хаоса в сфере гражданского просвещения при отчетливом дистанцировании национальных правительств, которые все еще не осознали всю глубину мощного воздействия образования на гражданскую культуру и политические перспективы своих стран и ЕС в целом.

И поэтому чаще всего просветительскую инициативу берут на себя общественные организации «третьего» сектора, но у них «авторское начало» проявлено еще больше, чем у региональных администраций и парламентов, ибо им необходимо постоянно демонстрировать свою организационную идентичность. Каждый субъект гражданского просвещения старается быть аутентичным и непохожим на остальные. И каждый себя считает методически и содержательно коррект-

Таким образом, хаос не преодолевается, а лишь усугубляется. Правда, надо заметить, он не приводит к панъевропейскому кризису, по крайней мере судя по тому, как заметно меняется в позитивном направлении гражданская среда в странах ЕС. Но с другой стороны: может быть, в век глобализации подобный «хаос» скорее и есть норма для просветительской сферы, а никакая не девиация? А если и не норма в классическом смысле слова, то, безусловно, эвристическая возможность и интересный шанс, особенно для тех, кто активно живет в глобальных «потоках». Молодое поколение, как кажется, гораздо меньше озабочено формальными проблемами (статус, права, обязанности и т.п.), чем полноценным и насыщенным активным гражданством, новыми перспективами, участием в принятии публичных решений, доступом к открытым данным, контролем и давлением на власти в целом.

Образование во имя «космополитического гражданства»

«Гражданин мира» — древнегреческая конструкция, изобретенная эллинистическими философами для обоснования (вне строгой полисной «прописки») своего образа жизни и мысли. Александр Македонский приоткрыл для них такую возможность, захватив по тем временам полмира, да и сам он, пожалуй, был одним из первых космополитов античного мира. Возвращение к понятию осуществили неостоики Возрождения, но его полноценный возврат в европейскую культуру совершили лишь мыслители и писатели эпохи Просвещения, правда уже с добавлением множества философских коннотаций. В новейшее время это понятие скорее имело негативный смысл, хотя использовалось оно не строго и в разное время в разных странах с весьма вольными толкованиями. При сталинском режиме, как известно, ярлык «космополит» был сродни самому суровому судебному приговору. Реабилитация понятия (правда, для определенных социокультурных групп относительная) и наделение его подлинно позитивными значениями происходит лишь на исходе прошлого столетия, когда оно возвращается в орбиту педагогической мысли и когда наметился политический крен в пользу воспитания у молодого поколения ответственности не только за свое ближнее окружение, но и за весь мир («глобальное образование») 17 .

И сразу же обнаружилось глубокое внутреннее противоречие. Поскольку не существует такого правового статуса, как «гражданин мира», то любой просветитель изначально лишен возможности обучать подростка легальному и институциональному мышлению, пусть даже и во имя глобальной ответственности. У космополитического мышления нет формальных рамок. По сути, для космополитического образования остается лишь одна опция — формирование у детей планетарной идентичности, что в условиях мировых потоков осуществляется само по себе, правда уже у людей более зрелого возраста. Но с другой стороны, все ныне существующие национальные государства так или иначе проповедуют патриотизм (везде, правда, с разным накалом и идеологическим настроем), как ту самую искомую «связь» личности и власти, привязанную к определенной территории, языку, легитимному порядку. Планетарная же идентичность, в противовес национальной или тем более локальной, все еще не воспринимается сегодняшними политиками и педагогами как полноценный и самодостаточный «культурный продукт». Об этом со времен Монтеня много говорилось в интеллектуальных кругах Запада, но мало что изменилось за долгие столетия в реальных образовательных практиках.

Компромиссное решение в свое время предложил Кант, который в своем небольшом эссе «О педагогике» (1803) смог соединить оба вектора гражданского образования: национальный и планетарный (космополитический), дав тем самым мощный импульс для развития всей последующей европейской педагогической мысли. Безусловно, это эвристическое решение, но как это сделать практически? Более того, поскольку,

утверждал Кант, всякое публичное образование должно ориентировать человека не на сегодняшний день, а на будущее, усовершенствованное самими же людьми, то и приоритет должен отдаваться образованию во имя гуманизма, то есть, по существу, стать фундаментально космополитическим. А пока власти никогда и нигде не руководствуются идеей универсального добра, лучше, чтобы гражданское образование не было бы в управлении у государства, пророчески резюмировал Кант.

С ним полемизировал Фихте, который тоже пытался примерить оба вектора гражданского образования, не смешивая их, но в отличие от Канта считал, что космополитизм без подлинного национального патриотизма абсурден. Ибо любовью к родине человек руководствуется в своей практической деятельности, а космополитизм управляет его мыслями¹⁸. Впрочем, и Фихте тоже не особо доверял государству в деле гражданского просвещения. После этих двух немецких мыслителей в XIX-XX веках ни философы, ни педагоги не возвращались к теме воспитания «гражданина мира», а советский псевдоинтернационализм был скорее пропагандистской риторикой, чем смысложизненным идеалом в деле просвещения.

Глобализация и рождение информационного «общества знаний» вновь вернули человечество к этой непростой теме. В долгой истории гражданского образования его характер, глубина и масштабы охвата всегда зависели от «доброй воли» государства, если оно понимало ту пользу, которую извлекало, взаимодействуя с корпусом просвещенных граждан (соответственно либо малопросвещенных, либо вовсе непросвещенных). И, возможно, именно поэтому стремилось контролировать как содержание, так и методы гражданской дидактики. Сегодня, как уже было отмечено, от простого желания государств или верховных правителей

напрямую гражданское образование уже не зависит. Более того, то, в каких институциональных формах оно сегодня успешно осуществляется и какие ставит перед собой цели, делает очевидным, что государства чаще испытывают серьезные сложности в связи с ростом гражданских

знаний и компетенций жителей своих стран, их критикой и оппонирующим к властям настроем. Тем не менее власть вынужденно принимает эти неудобные для себя «правила игры». Гражданское образование в век глобализации — скорее жизненная потребность всего человечества, чем «милость», ис-

ходящая от властных элит. А посему в него вовлечены локальные профессиональные сообщества исследователей, экспертов, педагогов, а также общественные организации и структуры, множество фондов и даже транснациональные институты, создавшие своего рода глобальную просветительскую сеть¹⁹.

Но если на смену старой модели просвещения граждан во имя национального суверенитета, единства и патриотизма будет «изобретен» новый школьный предмет — образование во имя единого мирового государства, в котором все жители планеты якобы обретут искомый формально-правовой статус «космополитических граждан», то такое просвещение, справедливо отмечают многие эксперты, не просто нежелательно, но и опасно, ибо способно окончательно разрушить кантовский идеал «вечного мира». Следовательно, образование во имя «космополитического гражданства» есть не более чем публичное рассуждение, в том числе в вузах и школах, о современных смыслах «мира», «гражданской идентичности», «мировой ответственности» и «универсализма»²⁰.

А это все означает, что старая модель гражданского просвещения была самодостаточной, направленной на поддержание status quo, то есть являлась иелью в самой себе. Сегодняшняя же тенденция обновления модели во имя «космополитического образования» делает глобаль-

Дидактика «открытой школы» бюрократически не заформализована, а сама она выстроена так, что в ней гражданское образование перестает быть объектом социальной политики государственных чиновников

> ную сеть гражданского образования во всем разнообразии его форм и содержания важнейшим инструментом фундаментального обновления мира, и прежде всего в направлении толерантности, свободы, ненасилия, партнерства и устойчивого развития цивилизации.

> «Открытая школа»²¹ (нередко именуемая еще и future school) есть пространство и методология глобального обучения и холистической педагогики22. Классическая школа и среднее образование ранее всегда интерпретировались как «место воспроизводства» культуры и легитимного порядка, а посему справедливо считались консервативными в методологии и содержании. «Открытая школа», напротив, в качестве своего стержневого предмета выбирает global studies состояние планеты и глобальные вызовы, проактивное сознание современного человека, его кросскультурную компетентность, философию свободного выбора, критическое мышление и т.д. Дидактика «открытой школы» бюрократически не заформализована, а сама она выстроена так, что в ней гражданское образование перестает быть объектом

социальной политики государственных чиновников. Подрастающим поколениям самим предлагается свободно вжиться в роль активных субъектов цивилизационных перемен.

Современная политическая философия, пропагандирующая всю серьезность намерений многих интеллектуалов мира продвигать образование именно во имя «космополитического гражданства», строится на достаточно нетривиальных и даже в чем-то радикальных постулатах. К примеру, утверждается, что: (а) патриотизм в исконно модернистском виде в XXI веке является опасным заблуждением, ибо чаще всего перерождается в национализм, ксенофобию и агрессивную нетерпимость; (б) все народы сегодня должны критически отнестись к своим традициям и понять их адекватность сегодняшнему времени и задачам перспективного развития планеты; (в) молодым поколениям необходимо научиться воспринимать себя не как этнокультурных индивидуальностей (сингулярности), а как важных и органически встроенных в человечество аутентичных сущностей, научиться видеть самих себя чужими глазами и прочувствовать, что значит быть другими.

Космополитическое просвещение, выстроенное в этой логике, позволит каждому индивиду (группе, сообществам) лучше понять себя, отказаться от конфронтации в пользу глобальной кооперации, защитить социокультурные различия между людьми и активно поддержать моральную ответственность и глобальную этику защиты планетарного Целого²³.

В век глобализации гуманизм тождествен эмпатии и космополитизму. Для реализации такой образовательной «повестки дня» потребуется в буквальном смысле новое Просвещение, а воспитание «граждан мира» будет постоянно актуальной задачей с самого раннего детства. Впрочем, этот сегмент в мировой истории гражданского образования еще не финализирован и в нем еще вполне могут внезапно возникнуть малопрогнозируемые сегодня отягчающие прогресс обстоятельства.

Время покажет! Хотя и глобальным «гражданам мира» сидеть сложа руки неприемлемо, историческое сражение за цивилизационное обновление все еще длится. Но судьба нынешнего незавершенного контекста гражданского образования, может быть, впервые в мировой истории находится в руках самих граждан мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Heater D. History of Education for Citizenship. P. 174.
- 2 Ibid. P. 174.
- 3 Работа была написана в 1915 году, но впервые вышла в свет в издательстве «Жизнь и Знание» в 1917 г. И наконец полномасштабным тиражом опубликована в типографии Шпамера в Лейпциге четыре года спустя. Крупская Н. Народное образование и демократия. Берлин: Государственное издательство Р.С.Ф.С.Р., 1921.
- 4 Heater D. History of Education for Citizenship. P. 175.
- 5 Ibid. P. 178.
- 6 Большинство современных исследователей, именуя зачастую оба режима политическими «близнецами», тем не менее считают, что буквальное отождествление советского и нацистского исторических опытов с академической точки зрения некорректно, а порой и просто запутывает глубинные смыслы. Из самых последних изданий по теме см.:

Karlsson K.-G., Stenfeldt J. (Eds.) Perspectives on the Entangled History of Communism and Nazism. — London — Lanham — New York: Lexington Books, 2015.

Блестящий сравнительный анализ социальной инженерии в сфере конструирования тоталитарного гражданина см.: Фрицше П., Хельбек Й. «Новый человек» в сталинской России и нацистской Германии // Гейер М., Фицпатрик Ш. (Ред.) За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма. — Москва: РОССПЭН, 2011. C. 399-452.

8 Там же. С. 412.

Контекст 7, незавершенный: космополис и гражданское образование в век глобализации

1 Литература на эту тему безгранична. Упомяну лишь самые яркие публикации последних лет, изменившие наши традиционные представления о «гражданстве»: Balibar E. Cittadinanza. Turin: Bollati Boringhieri, 2012 (Eng. ed.: Citizenship. Cambridge: Polity Press, 2015); Bellamy R. Citizenship. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008; Dobson L. Supranational Citizenship. Manchester: Manchester University Press, 2006; Dominelli L., Moosa-Mitha M. (Eds.) Reconfiguring Citizenship. Farnham: Ashgate, 2014; Hopkins N. Citizenship and Democracy in Further and Adult Education. Dordrecht: Springer, 2014; Isin E.F., Nyers P. (Eds.) Routledge Handbook of Global Citizenship Studies. London — New York: Routledge, 2014; Isin E.F. (Ed.) Citizenship after Orientalism. Transforming Political Theory. London: Palgrave Macmillan, 2015; Kane L.T., Poweller M.R. (Eds.) Citizenship in the 21st Century. New York: Nova Science Publishers, 2008; Kivisto P., Faist Th. Citizenship. Discourse, Theory, and Transnational Prospects. Oxford: Blackwell, 2007; Kostakopoulou D. The Future Governance of Citizenship. Cambridge: Cambridge University Press, 2008; Matias G. Citizenship as Human Right. The Fundamental Right to a Specific Citizenship. London: Palgrave Macmillan, 2016; Poguntke Th., Rossteutscher S., Schmitt-Beck R., Zmerrli S. (Eds.) Citizenship and Democracy in an Era of Crisis. London -New York: Routledge, 2015; Skelton T. (Ed.) Politics, Citizenship and Rights. Dordrecht: Springer, 2016; Stoker G. Prospects for Citizenship, London: Bloomsbury, 2011.

- Блестящий анализ множественности смыслов «гражданства» см.: Duyvendak J.W., Geschiere P., Tonkens E. (Eds.) Culuralization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- О метаморфозах идеи «гражданства» и, как следствие этого, усложнении гражданского образования уже в конце прошлого века писал английский историк Дерек Хитер. См.: Heater D. Citizenship. The Civic Ideal in World History, Politics and Education. Harlow: Longman, 1990, Ch. 9. А позднее и о космополитизме: Heater D. World Citizenship and Government. Cosmopolitan Ideas in the History of Western Political Thought. Basingstoke: Macmillan, 1998; Heater D. World Citizenship. Cosmopolitan Thinking and Its Opponents. London: Contin Continuum, 2002.
- 4 О мультикультурном гражданском образовании см.: Grant C.A., Lei J.L. (Eds.) Global Constructions of Multicultural Education. Theories and Realities. Mahwah, NJ — London: Lawrence Erlbaum, 2008.
- Подробнее: Soja Ed.W. Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Cambridge: Blackwell, 2000. Ch. 7-11.
- Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильности для XXI столетия. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.
- Isin E. F. Being Political. Genealogies of Citizenship. Minneapolis: University Minnesota Press, 2002. Ch. 7.
- Известный сингапурский аналитик Параг Ханна в книге «Коннектография» предлагает нам заглянуть в самое недалекое будущее глобального мира, где инфраструктурные связи между урбанизированными местами (гиперлокальностями) будет предопределять географию грядущей цивилизации. «Мосты» ("bridges to elsewhere" & "bridges to nowhere"), то есть транспортные и информационные мегаинфраструктуры, соединят города мира, физическое расстояние между которыми утратит какое-либо значение. См.:

Parag K. Connectography. Mapping the Future of Global Civilization. New York: Random House, 2016. Очевидно, что подобная «коннектография» ломает классические модели гражданства и традиционного городского соседства, но и одновременно представляет собой действительно непосильно трудную задачу для современного гражданского просвешения.

9 Американский исследователь турецкого происхождения Энджин Исин, как мне кажется, очень точно обозначил этот феномен как «гражданство без границ». См.: Isin E.F. Citizens without Frontiers. New York — London: Bloomsbury, 2012.

10 Hedtke R., Zimenkova T. (Eds.) Education for Civic and Political Participation. A Critical Approach. London — New York: Routledge, 2012; Longo N.V. Why Community Matters. Connecting Education with Civic Life. New York: The State University of New York Press, 2008.

11 Heater D. A History of Education for Citizenship. London — New York: Routledge, 2004. P. 198–199.

12 До сих пор не утихают споры в специальной литературе о судьбе мультикультурализма. Был ли он вообще? Насколько удачными оказались региональные и мегаполисные эксперименты выстраивания мультикультурных практик в общественной жизни и образовании? Об этом см., в частности: Beck U. The Cosmopolitan Vision. Cambridge: Polity Press, 2006; Benet-Martinez V., Ying-Yi Hong (Eds.) The Oxford Handbook of Multicultural Identity. Oxford: Oxford University Press, 2014; Kivisto P. Multiculturalism in Global Society. Oxford: Blackwell, 2002; Kymlicka W. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995; Modood T. Multiculturalism. A Civic Idea. Cambridge: Polity Press, 2013; Parekh B. Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity Political Theory. London: Macmillan, 2000; Rattansi A. Multiculturalism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011; van Hooft S., Vandekerckhove W. (Eds.) Dordrecht: Questioning Multiculturalism. Springer, 2010.

13 Heater. P. 213.

14 Об исторической эволюции идеи европей-

ского гражданства см.: Pukallus S. Representations of European Citizenship since 1951. London: Palgrave Macmillan, 2016.

15 Heater. P. 123.

16 Lawn M. Modern Times. Work, Profession and Citizenship in Teaching. London — Washington: Routledge — Falmer Press, 1996.
17 О космополитизме, космополитическом гражданстве и образовании см.: Delanty G. (Ed.) Routledge Handbook of Cosmopolitanism Studies. London — New York: Routledge, 2012; Osler A., Starkey H. (Eds.) Changing Citizenship. Democracy and Inclusion in Education. Maidenhead: Open University Press, 2005; Skrbis Z., Woodward I. Cosmopolitanism. Uses of the Idea. London: Sage, 2013; Taraborrelli A. Contemporary Cosmopolitanism. London: Bloomsbury, 2015.

18 Heater. Op. cit. P. 224.

19 Возможно, генезис сетевого гражданского образования шел параллельно институционализации глобального гражданского общества. Дискуссию об этом см.: Keane J. Global Civil Society? Cambridge: Cambridge University Press, 2003; Walker J., Thompson A.S. Critical Mass. The Emergence of Global Civil Society. Wilfrid Laurie University Press, 2010.

20 Подробнее об этой дискуссии см.: Heater D. World Citizenship. Cosmopolitan Thinking and Its Opponents. London: Continuum, 2002.

21 Abrioux D., Ferreira F. (Eds.) Open Schooling in the 21st Century. Vancouver: Commonwealth of Learning Publishing, 2009.

22 Об этом еще в конце прошлого века писали: Hanvey R.G. An Attainable Global Perspective. New York: Center for Global Perspectives, 1976; Pike G. Selby D. Global Teacher, Global Learner. London: Hodder & Stoughton, 1988. Ср.: Ricci C., Prithscher C. P. Holistic Pedagogy. The Self and Quality Willed Learning. Dordrecht: Springer, 2015.

23 См. подробнее: Kateb G. Patriotism and Other Mistakes. New Haven: Yale University Press, 2006; Nussbaum M.C. (Ed.) For Love of Country. Debating the Limits of Patriotism. Boston: Beacon, 1996; Nussbaum M.C. Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997; Widdows H. Global Ethics. An Introduction. Durham: Acumen, 2011.

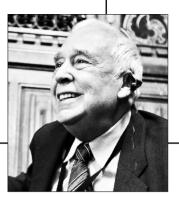
Разнообразие в универсальном*

Эдвард Скидельски:

— Мы будем говорить сегодня о нравственном универсализме в самом широком понимании этого определения — его исторических истоках и социально-политических аспектах. Не лишать людей безвинно жизни, не порабощать их, не пытать. Многие в Англии считают, что эти максимы универсальны, что они обладают всеобщим значением, хотя принципам этим не везде и не всегда следуют сами англичане. В конце концов, история и идеи революции, в том числе промышленной, не всегда воспринимаются однозначно. То же самое относится к нравственности и морали. Дело в том, что моральный универсализм не присущ имманентно человеческому роду. Мы не видим его примеров в ранних цивилизациях.

Египтяне, греки, римляне, израильтяне и китайцы поразному мыслили нравственные категории и концепции. Возможно даже, их нравы сегодня представляются ужасными, но мы вряд ли можем что-то здесь изменить. Многие восхваляли величие прошлого. Тацит и Ювенал обличали падение морали в Римской империи. Конфуций задолго до них говорил об упадке китайской цивилизации и кризисе ценностей. Эти и другие мыслители желали возврата к славе отцов, к утерянной славе предков. В индуистской Индии, например, мы находим цивилизацию подобного древнего типа.

Здесь у каждой касты были свои права, свои боги, и индуист следует мифам и правилам своей касты не потому, что уверен в их справедливости, а потому что они ему принадлежат по праву касты. Очевидно, что человек, который подобным образом воспринимает свою религию, лишен какого-либо миссионерского духа; он не станет преследовать цель привлекать в свою религию других.



Роберт Скидельски, экономист, член палаты лордов Великобритании



Эдвард Скидельски, преподаватель Эксетерского университета (Великобритания)

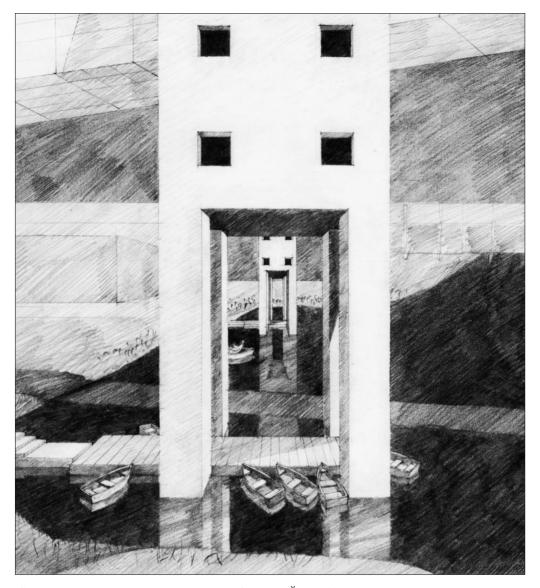
^{*} Совместная сессия на семинаре Ассоциации школ политических исследований Совета Европы 24 января 2018 г. в Оксфорде (Великобритания).

Не следует думать, что все политеистичные общества не склонны к рефлексии. Это не так. Безусловно, во всех цивилизациях — иудейской, греческой, римской — были философы, мыслители, которые так или иначе задавались вопросом: какова наиболее добродетельная, лучшая жизнь для человека? Однако философия в классических древних обществах была все-таки привилегией интеллектуальной элиты, у которой не было намерения нести знание в народ. Философы следовали правилам кружков, в соответствии с которыми формировались эзотерические знания. Монотеизм Платона и учение стоиков могли бы сосуществовать с политеистичными культами тех же греков и римлян. Так же как и различные Упанишады могли сосуществовать в потрясающем культурном разнообразии Индии. Иудаизм изначально был племенной религией, которая была в целом распространена на древнем Ближнем Востоке. Яхве — бог древних евреев — фактически получил примат над Молохом и иными племенными божествами. Но однажды в истории древнего Израиля он стал восприниматься совершенно новым, невероятным, уникальным образом, что предало поклонению Яхве новый смысл. Пророк Исайя, пишет один из комментаторов Библии, пришел к выводу, что когда Бог открыл свой Законы на горе Синай, то следовать этому закону надлежит не только народу Израиля, но всем народам мира. Таким образом, иудеи перестали быть лишь одним из народов, они стали носителями всемирной миссии, всемирной правды. Они стали принимать в лоно своей религии представителей других народов посредством браков или обряда в Александрийской синагоге. За века, предшествующие Христу, было множество людей, принявших иудаизм. Но, несмотря на то что в иудаизме содержатся семена универсализма, он не мог стать сам по себе всемирной религией, в силу его этнического характера в ту эпоху. Неевреи, которые желали принять иудаизм, оказывались в положении мигрантов, которые ищут прибежище в чужой стране. Они вынуждены были отказываться от прежней этничности и принимать иудаизм, в частности посредством ритуала обрезания. И даже в этом случае многие евреи консервативного толка не хотели их принимать. Противоречие между национальным своеобразием и религиозной универсальностью было преодолено в христианстве — первой классической миссионерской религии. Апостол Павел пишет, что храм и церковь становятся новым Израилем и «обрезание сердца» замещает собой обрезание плоти. В Посланиях к Коллосянам и Галатам он говорит, что нет ни эллина, ни иудея; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно «в своей вере перед Богом», Христианство получило важную особенность от иудаизма, которая безусловно отличает его от иных древнеазиатских культов поздней Римской империи. Его Бог был Богом грозным и ревностным, он не желал занимать место Юпитера или иных богов Римского пантеона. Целостность новой религии, не имеющей ничего общего с языческими верованиями и культами, обеспечивала ее существование и выживание. Если бы христианство стало смешением существовавших верований и религии, оно вряд ли могло выжить в мире. Так возникла первая миссионерская религия мира. Но не последняя.

В VII веке пророк Мухаммед повторил монотеистический подвиг. Христианское учение в первые века существования распространялось посредством устной речи. Несмотря на последующую историю отношений с имперской властью, христианство по-прежнему воспринималось как своего рода идеал иночества. Ислам же с самого начала был политической религией, распространяемой в том числе мечом. Его политическая суть была теократична и не признавала легитимности светской власти как таковой. Эти особенности ислама вели к ограниченности его притягательности за пределами традиционно исламских обществ.

Подобно христианству, буддизм был мессианской религией на протяжении первых десяти веков после возникновения в Древней Индии в середине І тысячелетия до н. э. Однако в отличие от христианства это была практически монашеская религия, хотя и не изолированная от мирских буддистов. В отличие от, допустим, китайско-японско-корейской ветви, которая образует связь с конфуцианством, буддизм не привел к рождению сильной светской идентичности. Исповедующие буддизм китайцы, к примеру, не буддисты в строгом смысле, как следующие учению Христа христиане, несмотря на то что они иногда могут посещать буддийские храмы. Буддизм — это нетеистическая религия личного спасения, а не основание для продвижения того или иного общественного порядка.

Исторические факты определяют интересную аномалию сегодняшней мировой политики. Христиане Западной Европы и Северной Америки официально скорее нейтральны, по крайней мере в политическом смысле: они не несут бремени идеологического мессианства, однако их вера остается универсалистской благодаря культуре, духу и морали христианского наследия. У Китая также нет, судя по всему, желания навязать миру модель своего деспотического бюрократизма, а Саудовская Аравия не настаивает, чтобы в Великобритании или во Франции женщины носили традиционный хиджаб. Однако в великом многообразии социальнокультурных особенностей, традиций, моделей поведения людей в больших сообществах очевидна роль неких универсальных норм, касающихся прав меньшинств независимо от их природы. В особенности политическое мессианство ассоциируется с Европой и Северной Америкой. Морализм Запада, однако, часто воспринимается неоднозначно во многих иных частях света. Объясняется это тем, что доктрина прав человека не следует естественным образом из человеческого разума, но основывается на метафизических постулатах, которые в целом имеют христианскую природу, хотя и не воспринимаются всеми как таковые. Главная идея доктрины — непреходящая ценность человеческой личности, а следовательно, основного права человека — права на жизнь. Такая логика системы прав человека далеко не всегда и везде была самодостаточной и очевидной. Большинство народов на протяжении истории подвергали испытаниям абсолютную неотъемлемость права на жизнь. Кровавые, бесконечные войны, мятежи, восстания, казни, бытовые эксцессы были и остаются до сих пор чрезвычайно распространенными чертами миропорядка и общественной жизни. Вера в абсолютную ценность человеческой личности — это христианский постулат, основанный на отожеств-



Стивен Холл. Проект моста «Гимназиум» для Нью-Йорка. 1977

лении человека с Иисусом. Вне зависимости от этого теологического обоснования все рациональные суждения о ценности жизни останутся юридической формой или политическим лозунгом, в который даже те, кто его провозглашает, не всегда верят. Будучи лично убежденными в том, что есть действия в отношении человеческой личности, которые должны быть под абсолютным запретом, мы должны признать, что не от всех людей можно ожидать безусловного следования этому принципу, хотя продолжаем осуждать насилие и прибегаем к вмешательству, чтобы их остановить. При этом мы основываемся на нормах цивилизованного поведения, а не исходя из абстрактной легалистской формы прав человека. Необходимо просто осознавать, что речь идет об убийстве тысяч

гражданских лиц или о внесудебных расправах над лидерами повстанцев. Мы должны, однако, понимать, что навязывание так называемых западных принципов и прав странам, которым они совершенно чужды, исключительно сложная задача, если не сказать тупик, для доктрины всемирного либерализма.

Я ничего не сказал о России — стране православного христианства, которая исторически шла несколько иным путем и в отличие от западных государств вряд ли обладает таким же духом мессианства и универсальности. Думаю, что Роберт дополнит мое выступление.

Роберт Скидельски:

— Итак, я хотел поговорить о трех типах универсализма и обсудить именно тот вопрос, который поднял Эдвард в конце своего выступления. Думаю, что когда мы размышляем об универсализме, мы прежде всего имеем в виду законы, которые действуют во все времена, во всех местах и обстоятельствах, а именно те, что мы называем законами природы. Эти действия при одних и тех же условиях всегда приводят к одинаковым результатам — например, закон всемирного тяготения. Тем не менее законы природы не то же самое, что законы науки. Если природа существует в соответствии со своими законами, то законы науки — это продукт человеческого разума, мышления. Поэтому они претерпевают непрерывную эволюцию. Сегодня наука совсем не такая, как, предположим, сто или пятьсот лет назад. Мы научились изменять наши концептуальные и понятийные рамки и соответственно адаптироваться к открытиям. Таким образом, законы природы неизменны, в то время как законы науки, их понимание и осмысление заставляют отказаться от безусловного универсализма научных знаний. Прекрасный пример представляют эпигенетика и другие чрезвычайно важные области биологии, позволившие критически посмотреть на теорию естественного отбора Чарльза Дарвина, которая доминировала в научном дискурсе в последние 150 лет.

Термин «законы природы», относимый к поведению нашего человеческого вида подразумевает второй контекст понятия «универсализм» — социокультурный. Мы говорим: люди везде одинаковы, где бы они ни находились, где бы ни жили, их реакции на события схожи. Почему люди столь похожи? Потому что это определено общим генетическим наследием, с одной стороны, и потому что большинство имеют похожий социальный опыт, опыт проживания с другими людьми — с другой. И мы полагаем, что поведение человека может определяться ограниченным разнообразием вариантов поведения.

Есть, по-видимому, два универсальных качества, которые характеризуют индивида, — верность своей группе и то, что называется личным интересом или выгодой. Экономисты изучают роль эгоизма, корысти в структуре общественных отношений, а социологи склонны более заниматься групповыми интересами или ценностями. Эти универсальные качества анализируются с точки зрения их значимости для выживания. И поскольку они друг другу противоречат, корысть или свой интерес, с одной стороны, и лояльность к своей группе — с другой, это объясняет те конфликты, которые терзают человеческое общество во все времена. Тем не менее следует признать, что антогонизм универсалий историчен. История показывает, что люди могут жить при самых разных условиях, развивая при этом самые разные институты и создавая различные нормы поведения. Что, скажем, является мотивацией для действий человека в экономической сфере? Экономисты считают, что основной мотиватор в экономике, конечно, корысть. А вот лояльность и верность своей группе интересов обычно отсутствует в анализе картины мира экономистов, когда они описывают поведение людей. Но неэкономическая мотивация существует. Например, когда люди выходят на забастовку, ведь ими движет не только корысть, стремление получить лично большую зарплату. Они идентифицируют себя с группой, лояльны ее интересам, что является фундаментальным качеством.

В разных обществах различные его страты более или менее открыты к людям, не принадлежащим к своей группе, к «чужакам». Как правило, более образованные люди более открыты по отношению к другим, и, похоже, это универсальная корреляция. Разным культурно-социальным уровням присущи разные уровни открытости. В частности, менее образованные ведут себя в соответствии с объединяющими их общими ценностями, и в большинстве случаев они предпочитают своих, тех, кто, как они чувствуют, более на них похожи.

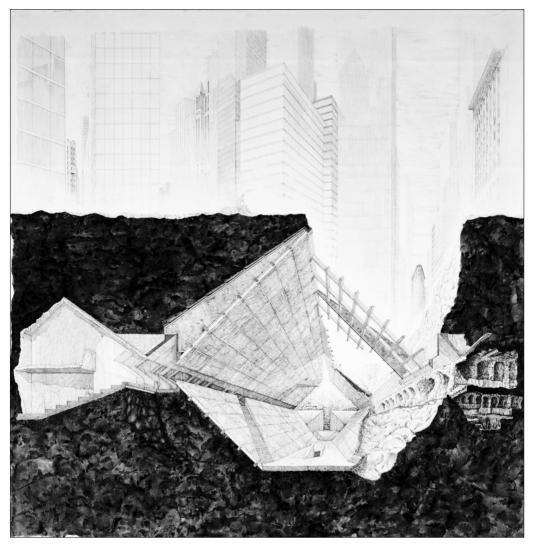
Этот второй тип универсализма, который регулирует поведение человека, приводит нас к третьей теме, связанной с универсализмом, а именно теме универсальных ценностей, то есть общечеловеческих. Независимо от того, русские мы, немцы или китайцы, все мы люди и в силу этого должны проживать свою жизнь в моральном смысле в соответствии с этими ценностями. Однако существуют ли эти самые универсальные, всеобщие ценности в действительности? Есть по крайней мере формальное обоснование их существования — Всеобщая декларация прав человека 1948 года. Авторами этого свода правил были правоведы, юристы, политики стран Запада, исходившие из западных представлений. К тексту Декларации не имели отношения арабские или китайские законоведы и философы, и я не знаю, приняли ли они такую концепцию универсальных, общечеловеческих прав. Между 800-ми и 200-ми годами до нашей эры развитие человечества происходило в пространстве миров Платона, Будды и Конфуция. Это был завораживающий период в истории человечества, когда люди разных культур, между которыми не было географической связи, тем не менее двигались к общим идеям. Пэтому я полагаю, что мы должны испытывать некий скептицизм в отношении монистического подхода к универсальным или всеобщим ценностям. Когда мы сегодня в Оксфорде рассуждаем об универсальных ценностях, то подразумеваем преимущественно ценности западной цивилизации. Мы склонны возводить их к периоду античной Греции, во всяком случае, как к одному из источников того, что мы считаем универсальными, или общечеловеческими, ценностями.

Мне представляется, что несмотря на то, что элементы этой ценностной системы могут быть обнаружены в иных культурах, в целом ее основание было уникальным достижением западной цивилизации. При этом надо

помнить, что это западное видение концепции ценностей прежде всего, а не система, которую разделяют иные общества в мире. Россия только отчасти является западной в этом смысле, который я обозначил. Возможно, об этом следует поговорить. Многие историки ссылаются на мнение Ричарда Пайпса, который часто выступал с лекциями в Школе и считал, что культурный геном русских сформировался в крестьянской среде, в общинном владении собственностью. Советский коммунизм, несмотря на огромный объем заимствованных у Запада смыслов, был укоренен в идее коллективного владения собственностью. Отсюда в социокультурных и иных отношениях доминировали не правовые нормы, не верховенство права, а неформальные мотивации поведения людей с четким разделением между теми, кто внутри своего круга, и теми, кто за его пределами. Режиссер Андрей Кончаловский в 2015 году объяснял: россияне вас либо любят, либо ненавидят, но не уважают. Однако следование универсальным ценностям не требует ни любви, ни ненависти. Речь идет об уважении. Поэтому к другим людям нужно относиться как к себе подобным, что бы вы ни испытывали лично по отношению к ним. В большинстве обществ нет такого идеального убеждения. Либо вас любят, либо ненавидят, то есть принимают или отторгают. Является ли Германия частью западной цивилизации? Да, конечно. Но все же она достаточно поздно присоединилась к западной, что называется, вечеринке. Я изучал немецкую историю, философию, в которых обнаруживаются различия между понятиями культуры и цивилизации.

Томас Манн в своих знаменитых «Мыслях о войне» (1914) и «Размышлениях аполитичного» (1918) характеризовал Первую мировую войну как противостояние немецкой гуманистической культуры и рационалистической западной цивилизации. Западная цивилизация ассоциируется с Парижем, который был холодным и рационалистичным. А те, кто попадает в контексты контраста между теплом и холодном, смертью и жизнью, естественно, приходят к обсуждению ценностей. Шпенглер исследуя длинные циклы мировых культур, пришел к заключению, что цивилизация представляет собой зиму культуры. Я все эти мысли вам предлагаю потому, что нам нужно по меньшей мере задуматься о возможности того, что Европа, которая так долго была центром мировой цивилизации, умирает. Во всяком случае, буквально на наших глазах поднимаются иные центры мирового сообщества, и они вовсе не обязательно разделяют европейскую систему ценностей.

Два веских фактора заставляют об этом задуматься. Прежде всего восстание против универсализма на самом Западе. Это началось с неприятия европейцами определенного типа универсализма, который оформился в начале девяностых годов и получил название «глобализация». Это неприятие, восстание проявилось прежде всего в разных популистских движениях. Что было его основой? Тут важно понимать, что глобализация — это, конечно, форма современного проекта универсализма в сфере экономики, но не только. В гуманитарной сфере утверждается идея трансграничности прав человека. Против этого и других проявлений глобализма, которые накрыли Европу, выступила даже Великобритания,



Гаэтано Пеше. Проект «Церковь уединения» для Нью-Йорка (поперечный разрез). 1974–1977

принявшая решение о выходе из ЕС, чтобы вернуть национальный суверенитет. В Соединенных Штатах Америки лозунг «Америка прежде всего!» обретает новое дыхание.

В историческом смысле значение нынешних популистских националистских течений сродни второму пришествию фашизма в его первоначальном смысле объединения людей на националистических идеях. Это не имеет никакого отношения к шествию людей в униформе. Черты фашизма прослеживались в Европе задолго до того, как фашизм оформился как конкретное политическое движение под таким названием и вышел на политическую сцену в период между двумя мировыми войнами. В западном обществе это реакция противодействия универсализму, принявшая такую форму политического выражения в 30-е годы, но в других формах существует и сейчас. Поэтому даже на Западе наблюдается конфликт между

западными универсальными и всеобщими человеческими ценностями и ценностями людей, которые привязаны к своей группе, к своей семье и не испытывают лояльности к каким-то конкретным личностям. Эта тенденция всегда присутствовала, но, похоже, она укрепилась за последние 10-15 лет. Почему это происходит? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Например, Эмануэль Макрон в интервью британскому телевидению сказал, что причину надо искать в том, что многие люди проиграли, они — лузеры глобализации. Это поверхностное суждение, но нельзя отрицать того, что далеко не всем глобализация помогла в жизни. Немало тех, кто проиграл. Это и есть неудачники глобализации — те, кто потерял работу, бизнес и т.д.

В культурно-экономической среде, как и в физике, одно из часто встречающихся слов — напряжение. Напряжение, противоречия или разногласия между кем-то — это то, что стоит на пути идеального КПД работающего механизма или машины. В социально-экономической сфере этот фактор представляет человек. Человек постоянно разочаровывает экономистов. Он постоянно чинит препоны для идеального равновесия на рынке. Другим препятствием для экономических акторов является граница. Нет никакого экономического обоснования для их существования в свободном рынке. Что необходимо? Интенсивное передвижение людей, идей, денег, товаров по всему миру. Если исповедовать такие убеждения, вряд ли останется пространство для популизма. Популизм рассчитан на людей необразованных, недостаточно квалифицированных, чтобы адаптироваться к условиям идущей глобализации.

Второй феномен глобализации — смещение глобальной власти, которая уходит от США в направлении к Китаю. Китай не собирается и не намеревается занимать место Соединенных Штатов, он не стремится к универсальной гегемонии, не хочет всех превращать в китайцев. Китайцы требуют уважения к своей культуре и к себе, они хотят многополярного мира, где будут одним из полюсов.

А как Россия вписывается в эту картину мира? Страна сталкивается с этими двумя вызовами, потому что есть фашистские элементы в экономике и политике. И опять же я хочу вам сказать, что слово «фашизм» употребляю в изначальном его значении, то есть «союз», «объединение», скрепленное националистической правоконсервативной идеей авторитаризма. В то же время Россия также является одним из центров силы, одной из держав, которые как раз не могут принять идею, что единственная держава будет доминировать в мировой политике. С падением коммунизма в 1990 году один экономист пошутил, что коммунизм был всего лишь отклонением от капитализма. Так ли это? Является ли Россия капиталистическим обществом? Какова ее экономика сегодня? 60-70% экономики принадлежат государству. Это очень большая доля. При коммунизме, понятно, было 100%, а теперь 70%. Это как оценивать? Как прогресс или нет? Ведь сначала доля госсектора была ниже, чем сейчас, но постепенно государство установило контроль над наиболее важными частями российской экономики, особенно над природными богатствами. Ввиду высокой концентрации производственных ресурсов у государства и довольно слабого развития институтов частной собственности Россию трудно считать интегрированной в либеральную модель глобализма.

Я постарался описать такой мир, в котором универсализм сейчас отступает, во всяком случае в своих наиболее явных формах. Есть ли, однако, основание для оптимизма? Следует ли нам бороться, сопротивляться деградации всеобщих ценностей?

Первое основание для оптимизма состоит в том, что Запад с точки зрения моральных установлений доминировал последние 300–400 лет, тем самым оказав серьезное влияние на национальные культуры тех обществ, куда проник. Морально-правовая культура в Китае сегодня совсем не та, какой была до вступления в контакт с Западом. То же можно сказать про Индию, страны исламского мира. С другой стороны, думаю, не ошибусь, если скажу, что китайская и индуистская системы ценностей, в свою очередь, сильно повлияли на западную мысль. Это был все-таки асимметричный процесс взаимопроникновения разных типов культуры.

Второе. Несмотря ни на что, в мире растет взаимовлияние культурно-политических процессов, что заставляет власти корректировать внутренние процессы так, чтобы они были приемлемы для соседей, соответствовали каким-то неоспоримым нормам. Последствия действий власти больше не закрыты от окружающего мира. Это обстоятельство имеет огромное значение и является объективным основанием для развития системы прав человека. Эта борьба в правовом пространстве становится общим делом, совсем не то что 50 или 100 лет назад. Идея ответственности лидеров за свои действия перед мировым сообществом становится все более материальной.

Впервые принцип ответственности был реализован в 1945—1946 годах на Нюрнбергском процессе, когда руководство нацистской Германии было осуждено за преступления против человечности. Процесс был прецедентом при формировании, например, Международного суда ООН.

Несмотря на нюансы механизма расследования таких преступлений в систенме национальных наук существует понимание всеобщности: мы знаем, что такое ложная или недостоверная информация, применяем те или иные научные принципы исследования, отрицаем что-то, что явно противоречит фактам. В конце концов это приводит нас к определенному восприятию всеобщего характера вещей, хотя, правда, тут возможно и пессимистическое истолкование. Наконец, нас как человеческий вид в идеале объединяет единая судьба. С этим мы ничего не можем поделать. Интересует ли нас выживание нашего биологического вида или нам это безразлично? Можно ли говорить о том, что это сыграет роль в нашей дальнейшей судьбе на этой планете? Можно ли говорить об универсальности общей этики, если она основывается не на неких общих или личностных категориях, а на ценностях отдельных групп и культур и уважении, которое мы испытываем к ним. Иными словами, нужно созидать универсализм, основанный на безусловном признании и учете множественности интересов — частных и общественных.

Дискуссия

Светлана Шмелева. г. Москва:

— Позволю себе сделать несколько ремарок. В России есть такие магазины, которые называются универсальными, где продаются самые разные товары. И, может быть, поэтому у меня универсальность ассоциируется не столько с одинаковостью людей, сколько с их разнообразием, то есть с учетом различных качеств, правом быть разными, не посягая на права другого. В этом смысле я не вижу противоречий между глобальностью и локальностью. Универсальность не противоречит национальной идентичности человека, если это не идейно жесткий национализм.

И второе. На других сессиях много было сказано об образовании, о его влиянии на человека, делающим его более восприимчивым к глобализму. Я в этом не уверена, потому что наблюдала очень много людей образованных, которые совершенно не были открытыми к другим людям, не выходили за пределы своего круга. Поэтому, мне кажется, образование в этом смысле не достигает цели. Другое дело — просвещение... Но и здесь столько споров, что трудно связать адекватно разнообразие точек зрения с универсальным видением мира.

Эдвард Скидельски:

— Вы сказали, что не видите противоречия между универсализмом и разнообразием, потому что всеобщие права подразумевают право на разнообразие. Это, безусловно, так, но нужны некие условия. Защитники универсальных ценностей и всеобщих прав, безусловно, утверждают право на личную свободу, пока эта личная свобода не посягает на свободу другого. Но это вряд ли можно понимать в том смысле, что те или иные культуры вправе отступать от универсальных норм, если рассматривать проблему с позиций частного лица, а не с точки зрения целой культуры.

Роберт Скидельски:

— Образ универсального магазина кажется мне очень интересным. Действительно, мы покупаем те или иные товары, при этом имея возможность выбора, потому что разнообразие выбора — это суть современной экономики. Но это выбор материальный, а не ценностный. С другой стороны, выбор в России гораздо более узок, чем на Западе. Вот сегодня в газете я прочитал об отзыве прокатной лицензии фильма «Смерть Сталина» — это из последних новостей из России. Это безусловный пример сужения культурного выбора. Я совершенно с вами согласен с точки зрения открытости и уважения к разнообразию. Мы не хотим сужения

выбора в экономике, но когда товары становятся доступными всем посредством, например, онлайн-торговли, возникают законодательные акты, которые призваны регулировать спрос и предложения на товарном рынке. Происходит гонка между законотворчеством и свободой выбора.

Голос из зала:

— Спасибо за сессию. У меня не столько вопрос, сколько комментарий. История — это, конечно, процессы существования локальных культур, локальных «цивилизаций». Но мировая история — итог действия универсальных сил. В этом смысле универсализм существует как некая реальность, и он, конечно, не сводится к феноменам, которые очевидны для нас в XX веке — идее прав человека. Здесь я поддержал бы позицию о том, что первая волна универсализма связана с «осевым временем», поскольку именно тогда в разных частях мира возникают категории духовности. То есть примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры возникают духовные феномены, которые связывают разные локальные культуры, преодолевая границы. Второй этап, согласно Ясперсу, который ввел термин «осевое время», это возникающая в начале XVI века эпоха науки и техники, которые связывают в систему локальные культуры и создают универсалистский мир. Но кроме этого есть и другие силы. Мы видим, что власть и империи тоже основываются на каких-то универсалистских идеях, поскольку задачи империи состояли в том, чтобы интегрировать разные локальные тенденции. Капитал — это тоже универсалистская сила, он проявляет себя как очень мощный фактор в разных частях мира. Универсалистской силой является и культура, в том числе не только высокая культура, но и созданная глобализацией потребительская культура, которая всюду в мире предлагает нам одни и те же бренды, стандартную потребительскую среду. Ну и, к сожалению, мы тоже должны, наверное, об этом говорить, в результате универсализма на протяжении многих столетий сложился криминальный мир, который становится тоже глобальным. Поэтому я думаю, что следует в контексте универсализма задумываться и о том, как противостоять в том числе и теневым сторонам глобального мира, в котором мы живем.

Роберт Скидельски:

— Я хочу прокомментировать то, что вы сказали. История, безусловно, полна попыток прийти к общему пониманию феноменов прогресса и регресса. Такая попытка может быть осуществлена с позиций диалектической методологии, потому что линейного развития, безусловно, не происходит — жизнь полна противоречий. Это понимали Гегель и Маркс, которые с некоторыми существенными оговорками оба были диалектиками, но в целом западная традиция мне представляется в меньшей степени склонной к диалектике. Англо-американская традиция в этой связи, мне кажется, более линейна, прагматична, более ориентирована на цикличное восприятие истории. Цикличность истории — это очень сложное состояние, когда чередуются спиральные фазы прогресса, стагнации и регресса, возрождения. Наиболее выразительно, на мой

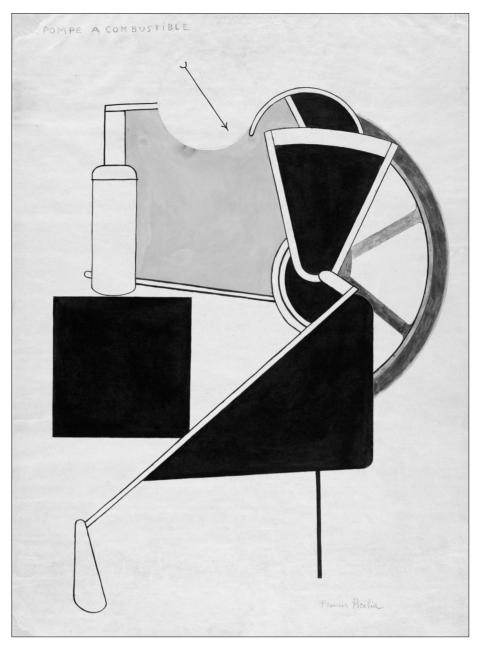
взгляд, выглядит цикличность истории, обусловленная естественными факторами. Мальтузианство, в соответствии с которым население мира, увеличиваясь в геометрической прогрессии, в конце концов не сможет себя содержать, предрекало деградацию человечества. Шпенглер рассматривает историю с точки зрения деградации культуры и высших духовных ценностей. Все зависит, однако, от точки зрения, в том числе и на глобализацию. Если бы этот семинар проходил, например, в 1900 году, как можно было бы представить себе XX век? Кто-нибудь вообще мог бы предсказать Первую мировую войну или возникновение фашизма? Тогда было ощущение, что возможны какие-то проблемы; было, безусловно, очевидно развитие России; никто не сомневался среди европейцев в лучшем будущем. Но приближавшаяся тогда глобализация разрушилась в Первую мировую войну и возобновилась лишь примерно через 60 лет. Это и есть диалектический взгляд на историю, ее цикличное, но не линейное течение.

Елена Немировская:

— Роберт Скидельски абсолютно прав, когда рассуждает в терминах экономики, истории, культуры, цивилизации. Но ведь есть такие универсальные ценности, как свобода, личность, о которых Эдвард говорил как о метафизических сущностях и проекциях на развитие человечества. Можно говорить об истории и цивилизации, об экономическом развитии, но есть такая экзистенциальная субстанция, которая называется «человек», и он неотделим от универсальных ценностей и стремления к ним свободе и вечной жизни, не в смысле бессмертия, а в смысле уважения к самой жизни.

Роберт Скидельски:

— Возможно, Эдвард хотел бы высказаться по этому поводу. Когда вы говорите о стремлении к свободе, к личностному росту как об универсальных ценностях, мне немного сложно это воспринять. Почему на протяжении многих тысячелетий было так мало экономического прогресса? Я пытаюсь иногда ответить на этот вопрос. Экономисты часто говорят: люди всегда стремились к самосовершенствованию — это всегда был один из основных мотивов существования, и тем не менее на протяжении очень длительного времени никакого прогресса экономики не было, на протяжении тысячелетий, с точки зрения улучшения условий жизни. Почему? Если мотив самосовершенствования настолько силен, то почему мы видим так мало улучшений жизни людей на протяжении столь длительного времени? Для меня это всегда было загадкой, я даже не буду пытаться на нее ответить или разрешить. Президент Буш в своей инаугурационной речи сказал, что пламя свободы горит в каждом сердце. Это прекрасная, красивая фраза, но вопрос в том, почему пламя это оказалось скорее не пламенем, а огоньком на протяжении стольких веков. Хотя ведь можно сказать, что экономический мотиватор был лишь одним из языков пламени в человеческом сердце, тогда как другие оказывались на протяжении длительного времени гораздо ярче.



Франсис Пикабиа. Топливный насос. 1922

Эдвард Скидельски:

— Согласен... Западный либерализм, в конце концов, основывается на человеческой природе. Я не стану настаивать только на метафизической или человеческой природе универсализма неких непреходящих ценностей, я просто хотел сказать, что в их основе — христианская или некая иная, из числа оновных, монотеистическая доктрина. В контексте теистических представлений человеческая жизнь и человек священны, поскольку человек создан по образу и подобию Божьему. Хотя не могу быть уве-

ренным в том, что эта мысль всегда была присуща человеку. Права человека, на мой взгляд, обобщены в христианстве, и мне кажется, что нехристиане с этим согласны.

В сегодняшнем мире Запад далеко не религиозен. Метафизические размышления и искания, конечно, не ушли из нашей жизни. Даже совершенно убежденные атеисты все равно не в состоянии избавиться от христианского наслелия.

Голос из зала:

— Большинство присутствующих здесь — журналисты, и мы вчера обсуждали тему сетевого общества. Интернет, на который многие рассчитывали как на универсальный инструмент коммуникации и добывания знаний, вовсе не универсален. Не только в техническом, но и в ценностном смысле он создает смысловые «пузыри» и фрагментирует общество. Не сталкивается ли тенденция универсализма, абсолютным поборником которой я являюсь, с новым феноменом обособления в обществе, его раскола на отдельные фрагменты со своими ценностями, с замкнутой коммуникапией?

Роберт Скидельский:

— Я согласен: всякая технология может использоваться для пользы или во вред. В раннюю эпоху развития Интернета многие считали, что он поможет свергнуть тиранов, обмениваться идеями и способствовать росту экономики. Совершенно с вами согласен в отношении разъединяющей силы Интернета, потому что люди часто общаются с другими в рамках тех или иных сетевых сообществ, фактически сужая свой выбор и даже становясь нетерпимыми. Либеральное мировоззрение реализуется в процессе публичного обсуждения идей, проблем на форумах, в парламенте или в СМИ. Но если это происходит в закоулках частных мнений отдельных лиц в сети Интернета, размеры и авторитет общественной площадки сокращаются. Общественный деятель, Public intellectuals, имеет английское происхождение. Андрея Сахарова с полным основанием в России называли общественным деятелем. Но подобных ему людей всюду становится меньше. «Публичные интеллектуалы» были куда как более влиятельными и оказывали большее воздействия на умы людей лет 100 назад, потому что к их мнению прислушивались большие массы людей. Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Бертран Рассел или Кейнс были теми, чье слово всегда привлекало внимание огромного количества людей, становилось темой обсуждения. У нас таких больше нет.

Иван Слободенюк, г. Челябинск:

— У меня менее теоретический вопрос из двух частей главным образом к Эдварду. Говорили много о религии и правах. Как вы считаете, сохранит ли в будущем религия свои позиции в Польше и в России? Восстановит ли она свое положение в других странах Европы? Сохранит ли британский монарх статус главы церкви Англии или свобода вероисповедания коснется и его, и традиционный обряд коронации уйдет в прошлое?

Эдвард Скидельски:

— Я не буду пытаться ответить на последний вопрос, потому что он затрагивает не относящуюся к религии тему. По поводу падения роли религии в Европе данные противоречивы. У нас церковь англиканская, и все ветви католической церкви испытывают тенденцию к ослаблению влияния в обществе. Вместе с тем иммиграция из стран, где население более религиозно, несколько выравнивает позиции церкви в Европе. Это, однако, не отменяет проблему церкви, которая очевидно испытывает давление модернизации общества.

Татьяна Кравченко г. Омск:

— Я хотела бы спросить, как вы соотносите понятия «универсализм», «глобализация», «интернационализм» и «космополитизм»?

Роберт Скидельски:

— Поскольку я с возрастом стал умнее, я стараюсь не интегрировать все эти вещи, потому что есть риск попасть в трясину путаницы. Я думаю, что глобализация следует не из экономики, а из культуры прежде всего. Те, кого называли философами глобализации в начале 90-х годов, были социологи, историки культуры. Один из наиболее известных — почетный профессор Лондонской школы экономики Энтони Гиденс, который написал книгу «Ускользающий мир» про глобализацию. Это культурный феномен формирования взаимозависимости людей, сообществ через систему коммуникаций и связей, преодоления границ, обособленности. В учебниках экономики вы ничего не найдете, даже слова «глобализация». Там все больше — про интеграцию капитала, рынков труда и товаров как процесса трансграничного сотрудничества между странами, которое предшествовало возникновению глобального рынка услуг и товаров. Понятие космополитизма использовали задолго до глобализации или экономической интеграции. В космополитическом обществе, космополитических городах люди разных национальностей, принадлежащих к разным культурам, живут не испытывая дискомфорта в отношениях друг с другом и не подчеркивая принадлежность к разным странам или культурам. Думаю, что это основное, что может быть ответом на ваш вопрос.

Голос из зала:

— Права человека возникли как некий универсальный язык после войны, как техника безопасности, которая не допускала бы повторение катастрофы Второй мировой войны, Холокоста. Когда мы говорим, что права человека не универсальны, означает ли это, что сдерживающие угрозу силы перестают действовать? Нужно ли заново выстраивать какие-то системы безопасности или все-таки в этом смысле права человека остаются универсальной категорией, понятной для всего мира?

Робет Скидельски:

— Я вовсе не хотел отрицать универсальные ценности: люди в мире, мне кажется, в основном ценят хорошую власть, стабильность, отсутствие

произвола. Я совершенно уверен, что китайцы, например, это точно ценят. У них всегда была очень сильная правовая традиция, но думаю, что само понятие прав человека — слишком узкое. Поэтому когда мы критикуем деяния других правительств в связи с правами человека, я предпочитаю обращаться к этому понятию не как к формальному кодексу, а к более широкому контексту культурологических, социальных принципов и критериев — цивилизованности, достоинству, порядочности. Совершенно определенно считаю, что формальное апеллирование к какой-либо доминантной концепции прав человека никак не предотвратит еще один холокост.

Юрий Сенокосов:

— Спасибо Роберт, спасибо Эдвард. Мы ведем разговор о поисках утраченного универсализма, имея при этом в виду, конечно, поиски утраченного времени, поиск утраченной любви, поиск утраченной истории... Ведь если вдуматься, откуда, почему возникает название прустовского цикла романов «В поисках утраченного времени» и его седьмой, последней книги «Обретенное время», в которых время предстает отнюдь не как хронологическая, эмпирическая, конкретная категория? Поразительно, нужно было написать семь огромных томов, чтобы выразить мысль, которая через описание конкретных событий и переживаний привела автора в пространство, на самом деле лишенное времени, — в вечность.

Здесь спрашивали, что такое космополит? Диоген сидел в бочке, называл себя космополитом, потому что его, выражаясь современном языком, отвращала окружающая жизнь, и он как бы жил в другом мире, в другом пространстве, считая себя гражданином мира.

Нас не спрашивают, когда мы рождаемся, — зачем? Вообще нас не просили, чтобы мы родились, нас рождают. И мы рождаемся биологически от отца и матери и попадаем в пространство языка и культуры, окружающего мира. И в какой-то момент на наши плечи ложится груз ответственности за воспринимаемые по разному такие понятия, как «религия», «Бог», «демократия», «гражданин», «любовь», и мы должны родиться второй раз, чтобы стать в этом смысле гражданами, поэтому девиз нашей школы — «Мы разные, но мы все граждане». Различные по паспорту мы все живем, думаем, находясь в пространстве-времени и зная, что есть такие понятия, как пространство и время, вечность, бесконечность, абсолютность.

В свое время родились мировые религии личностного спасения. И всякий раз, когда возникал вопрос о религиозности — сильнее она стала или слабее, происходило это на фоне существенных социокультурных и политических трансформаций. Когда в семидесятые годы в Советском Союзе ослабла идеология, люди стали искать смысл жизни через науку, оккультные знания, астрологию и прочие верования. Нам долгое время запрещено было думать на религиозные темы, а тем более дискутировать о них, чтобы понять, что религия — это, конечно же, связь индивида с чем-то абсолютным — бесконечностью, вечностью, безусловностью. В отношении абсолютности можно сказать — да, мораль абсолютна. Но наше отношение к морали должно быть относительным; только тогда мы свободны, когда наша свобода не исключает свободу Другого. А это значит, что свобода не только в нас, но и между нами, и ее нельзя и невозможно приватизировать целиком.

Свободу не выбирают, свобода — не выбор. Свободу можно определить только позитивно тавтологически, как и жизнь: свобода есть свобода; жизнь есть жизнь. Лишь так мы рождаемся второй раз, в этих понятиях, где эмпирического как бы нет. А думаем всегда картинками, не абстрактно, для нас абстракция это что-то такое, что уводит от реальности. Поэтому мы пытаемся обживать мир с помощью картинок, образов, конкретных слов. И когда входим в мир, который стал глобальным, возникает вопрос, как жить вместе? Доклад, который я делал в Берлине на форуме, называется «От веры в спасение к доверию». Для меня слово «доверие» такое же, как слово Бог. Опять же в 70-е годы, когда просыпалось религиозное сознание в России и люди заговорили о Боге, священник Александр Мень, мой учитель, друг, говорил: если человек подумал о Боге, значит, у него понятие Бога уже есть, значит для него это уже нечто такое, что может его вести дальше. Верить можно в разные божества. Могут быть разные символы веры — тотемы. Можно верить, поклоняясь ящерице, священному дереву, можно верить в генерального секретаря, в президента. А мы хотим быть свободными гражданами, потому что свободу не выбирают, так же как мы получаем от природы способность видеть, слышать, говорить. Мы слышим и говорим на каком-то языке, живем в пространстве своей культуры. Но культур много, говорил Мераб Мамардашвили, а цивилизация одна. Цивилизация — это контакт, связь, если повезет, одной культуры с другой, одной религии с другой. Но культур и вер много. Как жить цивилизованно в современном глобальном мире? Языков много, не только естественных, но и искусственных, как и наук. Как выбраться из этого леса, взвалив на свои плечи после второго рождения свою долю ответственности и понимания современного мира? Это и есть смысл нашей школы гражданского просвещения; мы разные, но мы граждане и нам надо этому учиться.

И напоследок несколько слов о рацио. Рацио — это мера, пропорция. Опять же пропорция между чем и чем? Между мной конкретным и вами, бесконечным миром. Как найти пропорцию между конечным и бесконечным? Я люблю приводить пример: вот правое и левое, а здесь вроде центр. Где пропорция моего накопленного опыта, способности владеть обеими руками, держать равновесие, видеть двумя глазами. Это все человеческие простые качества, которыми мы обладаем, которым мы учимся. Экономики, о которых говорил Роберт, обслуживают в конечном счете наше тело, изобретения рождаются — не для власти, а для нас с вами, чтобы мы были здоровыми, чтобы мы общались, преодолевали пространство и время.

Так я ответил бы на вопрос в целом о религии, о рациональности, о гражданственности, о гражданском начале нашей жизни. Поэтому Роберт, Эдвард, вы своими размышлениями здесь создали фон, который позволил всем нам чуть продвинуться по пути постижения в принципе непостижимого мира. Я бесконечно благодарен вам, сегодня особенно, за ваше здесь присутствие и общение с вами.

Приблизить Европу к гражданам*

очу поговорить о состоянии гражданственности в странах Европы, так как сегодня это вопрос, который меня очень интересует. Одна из причин в том, что в газете «Гардиан» мы инициируем новый проект в режиме онлайн, который называется «Европа сегодня». Мы хотим в рамках этого ресурса услышать голоса не только из стран Европейского союза, но и из стран Европы, не входящих в Евросоюз, включая Россию. Люди, как мы надеемся, вступят в беседу о ценностях, о том, как меняется наше общество, об опасностях популизма, о неолиберализме или антилиберализме, о новых технологиях, которые меняют нашу жизнь. Когда мы говорим о Европе, мы часто думаем о сложных институтах, таких, например, как Еврокомиссия, как национальные правительства, различные международные организации. Мы в «Гардиан» пытаемся увидеть Европу в человеческом измерении, на уровне отдельных граждан. Нам кажется это важной задачей, потому что Европа, как, по сути, и весь мир, в последние годы находится под прессом серьезных проблем. Назову несколько: кризис Еврозоны, миграционный кризис, беженцы, рост популизма и восхождение популистских правительств в странах Евросоюза, которые зачастую не уважают принципы Европейского клуба государств; проблемы на Ближнем Востоке и терроризм, проникающий в Европу; конфликт на Украине и роль России; политика, экономика... Зачастую эти вопросы обсуждаются на экспертном уровне, тогда как мы пытаемся вовлечь в дискуссию обычных граждан. Проект объединенной Европы насчитывает 60 лет, но мы часто испытываем смятение в отношении векторов европолитики. При этом речь в целом идет о двух типах критики. Европу критикуют за



Натали Нугайред член редакционного совета, колумнист газеты «Гардиан», Великобритания

^{*} Выступление на семинаре Ассоциации школ политических исследований Совета Европы 24 января 2018 г. в Оксфорде (Великобритания).



Пабло Пикассо. Эскиз обложки журнала «Минотавр». 1933

слабость, за отсутствие решительности, за невысокие результаты в решении вопросов беженцев, например, или проблем экономики. Но есть и другой взгляд: европейское общество — это бюрократический монстр, который порабощает народы и пытается контролировать жизнь граждан. Эти два конфликтующие нарратива стыкуются, нет логики, которая позволила бы этим сценариям ужи-

ваться. Надо признать вместе с тем, что и в том, и в другом есть определенное содержание. Действительность всегда сложнее, и как журналисты мы должны пристальнее всматриваться в сложный, многогранный мир. Если есть какой-то принцип, которому я советовала бы следовать молодым журналистам, чтобы понять, способны ли они овладеть ремеслом журналиста, — это именно ком-

плексный взгляд на мир, осознание того, что упрощение — враг ясного мышления. Поэтому эти два нарратива, два типа восприятия Европы конфликтуют и в нашем сознании. Невежество в отношении того, как функционируют европейские институты, не улучшает ситуацию. Многие французы попросту не знают, как они работают, не знают, как работает Европейская комиссия, на чем основана система балансирования различных интересов в Европарламенте, чем занимается комитет министров Европейского совета и т.д. Словом, очевидна неосведомленность европейцев в отношении европейских институтов, которые созданы в соответствии с международными договоренностями, и, в частности, Лиссабонского договора, подписанного в 2007 году. Подобная структурная сложность придает Европейскому союзу сложность дефиниции, потому что это не федерация и не межправительственная организация, это гибридный, никогда ранее не существовавший уникальный проект, в соответствии с которым национальные государства добровольно отдают часть своего суверенитета для достижения общих целей.

Какова в этом уравнении роль граждан? В недавние годы, когда Европа подвергалась череде потрясений, раздавались голоса о том, что Европейский союз не перестанет выживет, существовать, Брексит, например, во многих частях мира называли первой стадией распада ЕС. Нас это, конечно, волновало в плане противоречий между восточными и западными государствами Союза, между севером и югом Европы, с точки зрения, например, задолженности и финансовой состоятельности южных стран. Все эти области напряжения и противоречия становились предметом озабоченности будущим ЕС. Мне кажется, одна из причин, почему ЕС до сих пор существует, состоит в том, что граждане очень разных государств хотели жить в составе единой Европы. Нам, журналистам, очень часто приходится иметь дело с плохими новостями, это часть нашей профессии. Мы, в частности, наблюдаем за ростом национализма, популизма, нетерпимости, ксенофобии. Мы наблюдаем все эти малоприятные процессы, противоречащие идеям европейского проекта. При этом мы недостаточно обращаемся к теме убеждениий граждан, которые, в общем-то, и сделали возможным европейский проект. А по всей Европе немало тех, кто как раз защищает эти основополагающие ценности.

Позвольте также сказать несколько слов об Украине. Украина — не член ЕС, но заинтересована во вступлении в Союз. Я помню, что в 2014 году мы слишком поздно поняли, что люди вышли на майдан за право ассоциации с ЕС, и мы знаем, что это привело к гибели людей. Мне кажется, что именно в это время многие европейцы впервые, может быть, задумались о том, что люди, вышедшие на демонстрацию в Киеве, готовы были жертвовать жизнью за право стать частью европейской семьи государств. И в Европейском союзе сегодня есть люди, которые хотя и не жертвуют жизнью, просто потому что ситуация не требует этого, однако готовы защищать идеи европейского проекта.

Недавно мы, например, видели в Румынии демонстрации сотен тысяч людей против коррупции, в поддержку плана правительства ужесточить законы привлечения к уголовной ответственности. Я помню фотографии людей на площади Бухареста: огромное стечение людей с факелами, с вырезанными из картона фигурками, символизирующими коррумпированных политиков, в том числе в тюремных робах. Румыния уже несколько лет в ЕС, но в этой стране и сейчас сражаются за ценности, которые так или иначе связаны с их членством в ЕС. Мы видим то же самое в

Польше. Упомяну, например, демонстрации польских женщин во многих городах Польши за равноправие, равные права с мужчинами, за право на аборт и против ультраконсервативного правительства, которое, как известно, стремится вернуть страну в традиционалистское русло, которое находится в довольно жестком противоречии с политикой многих правительств Евросоюза.

Или возьмем пример Венгрии, где господин Орбан открыто противостоит ряду принципов Европейского союза. Через несколько месяцев в Венгрии пройдут выборы, и там есть движение за страну для всех, и в частности за избирательный закон, который был бы справедливым и гарантировал отсутствие манипуляций. Подобные движения мы видим в разных странах.

Даже в Скандинавии, где отмечается рост национал-социалистических партий и движений, мы наблюдаем мобилизацию населения против крайне правых. Некоторые из числа крайне правых организуют патрулирование улиц для выявления незаконных мигрантов. Но в ответ возникла интереснейшая инициатива граждан, которые в шутовских одеждах присоединялись к этим патрулям и танцами рядом с ними дискредитировали эту идею. Нам кажется, что, создавая в нашей газете трибуну для граждан сторонников европейских ценностей, мы сможем лучше слышать, понимать и объединять их.

Прежде чем завершить это сообщение, разрешите зачитать фрагмент из одного выступления. Это, мне кажется, один из лучших аргументов в защиту европейского проекта. После того как я прочитаю несколько фраз, скажу, кто произнес эту речь в 2016 году в Ганновере. На мой взгляд, здесь выражены мысли, которые важны для всех граждан объединенной Европы: «Я говорю вам, народы Европы, не забывайте о том, кто вы. Вы наследни-

ки борьбы за свободу. Вы — немцы, французы, голландцы, бельгийцы, люксембуржцы, итальянцы и британцы, люди, которые поднялись над старыми конфликтами и объединили Европу в союз. Вы поляки из «Солидарности», защитники «бархатной революции» в Чехии, Словакии, вы — латыши, литовцы, эстонцы, взявшись за руки, двинулись к свободе. Вы — венгры, австрийцы, преодолевшие границу колючей проволоки. Вы — берлинцы, которые наконец снесли эту стену. Вы — народы Мадрида и Лондона, которые испытали удары террористов, но отказались жить в страхе. Вы — парижане, пережившие ужас «Батаклана», люди Брюсселя, в том числе бельгиец, который говорит, что нужно больше понимания, больше диалога, больше гуманности. Вот кто вы. Соединенные вместе, вы и есть Европа, единая в разнообразии».

К сожалению, человек, который произнес эту речь, был неевропейским лидером. Как вы думаете, кто ее произнес?.. Это был президент Обама. Это было во время его последнего посещения Европы в апреле 2016 года. Никто, в общем-то, не ожидал, что следующим президентом США будет господин Трамп. То, что я зачитала, это фрагмент из последней большой речи Обамы. У европейских лидеров, на мой взгляд, не достает красноречия для подобных речей. Кроме разве что утомительного анализа европейских институтов, хотя это, конечно, важно. Жан Монэ, один из основателей Европейского союза, однажды сказал: «Без человека нельзя ничего сделать, ничто невозможно без человека — мужчины или женщины. Ничего не прибудет из институтов». Да, конечно, институты, важны, но все мы из разных стран Европы, входящих в ЕС или находящихся в сопредельных частях, и мы должны сделать из этого континента землю, комфортную для всех и служащую человеку примером.

Дискуссия

Вероника Чегирь, Беларусь:

— Вы говорили про украинцев, которые рисковали жизнью и некоторые погибли за право называться европейцами. Но каждый день из Северной Африки или еще откуда-то выплывает большая лодка, которая повезет 300-500 человек, из которых доплывают не все. И вот в сентябре 2015 года все медиа опубликовали фотографию мертвого трехлетнего мальчика Айлана — беженца из Сирии, выброшенного на берег Турции после того, как лодка с беженцами перевернулась. Я в то время училась на факультете журналистики во Франции и помню, что только в этот момент начали понастоящему обсуждать проблему миграции, человеческие судьбы, массовую гибель людей. У меня в связи с этим вопрос: опубликовала ли «Гардиан» фото Айлана? Ведь было мнение, что неэтично публиковать фото мертвого ребенка. Что вы думаете по этому поводу? И второй вопрос: по вашему мнению, понимают ли граждане Евросоюза, что тысячи людей готовы рисковать жизнью, чтобы получить европейское гражданство?

Натали Нугайред:

— Спасибо за хороший вопрос. «Гардиан» опубликовала эту фотографию мальчика Айлана на берегу моря. Но подано это было не как сенсация, как это могли бы делать и делали таблоиды. Мы пытаемся использовать подобные фото максимально тактично, с соблюдением этических правил. Это была важная фотография, потому что многие вдруг осознали, что гибнут дети, пытаясь пересечь Средиземное море и добраться до берегов Европы. Кстати, это был не первый погибший ребенок, но этот снимок все равно ужасает! Мы знаем вообще силу фотографии: когда-то человечество вдруг осознало ужас войны во Вьетнаме благодаря фотографии обожженной напалмом девочки. Фото стало чем-то подобным иконе. Да, мы это сделали, мы опубликовали.

В отношении вопроса более широкого, почему европейским гражданам потребовалось столько времени, чтобы начать замечать трагедии людей, пытающихся пересечь Средиземное море и при этом погибающих... Возможно, десятки тысяч людей погибли в Средиземном море за последние 10-15 лет. Кризис стал особо наглядным начиная с 2013 года, после того как в октябре возле итальянского острова Лампедуза разыгралась одна из трагедий, в которой около 300 беженцев из Африки утонули. Тогда стало очевидным отчаянное положение людей, которые готовы на любой риск, чтобы доплыть до Европы. Мы понимаем, что это будет длительный процесс, потому что такова ситуация в некоторых странах Северной Африки и Ближнего Востока: демографические, экономические тенденции, нестабильность, конфликты. Европа оказалась в состоянии трудного поиска прагматического и гуманитарного решения миграционного кризиса. Это сложная задача. Когда я разговариваю с экспертами по этому вопросу, правозащитниками, они выделяют главное — открытые юридически безопасные каналы и пути для тех, кто хочет приехать в Европу. Наш континент стареет, и мы нуждаемся в иммиграции хотя бы по экономическим причинам. Политики предпочитают это не слишком афишировать, но ситуация все равно требует решения. Все равно придется создавать правовые и безопасные механизмы, чтобы люди не подвергались смертельной опасности на пути в Европу.

Наталья Парамонова, Москва:

— Как вам кажется, что европейцев больше всего объединяет, а что разъединяет? У нас, например, одна нация, все просто: Олимпиаду выиграли — все радуемся, кто-то на нас напал — и мы объединяемся. А что для европейцев означает общее пространство EC?

Натали Нугайред:

— Вы знаете, это один из тех вопросов, который я хотела бы сама изучить поподробнее. Меня всегда поражало, как просто было бы нас в Европе разделить. Разные языки, границы, разные истории, традиции, разные Конституции, ресурсы, то есть столько всего, что, кажется, может нас разделять. Но я заметила, что когда европейцы встречаются в других странах мира, они немедленно узнают и понимают друг друга. То есть существует нечто, что нас объединяет. Я думаю, это наша принадлежность этому единому пространству, при всех его сложностях. Это во-первых. Во-вторых, это сам европейский проект. Регулярные замеры разных аспектов общественного мнения показывают, что людям нравится в европейском проекте, хотя они и критикуют его, конечно. Например, за то, что недостаточно делается, чтобы одолеть безработицу, не столь эффективны меры против нелегальной иммиграции или в отношении миграции. Но людям нравится возможность свободно передвигаться, искать и находить работу, учиться, заниматься бизнесом. Им нравится идея единого пространства, где они могут устраивать жизнь по своему усмотрению.

Мне 50 лет, я помню время, когда начала активно путешествовать по Европе в конце 80-х годов, и помню, что тогда видела куда больше всяких местных различий, нежели сейчас. Возможно, это какие-то мелочи, но глобализация действительно пришла в Европу. Вы очень часто наблюдаете, например, одинаковые рестораны, магазины, но обнаруживаете, что в каждом месте своя еда, архитектурные какие-то особенности, конечно же, язык, но все равно вы чувствуете, что все мы живем в общей среде. Я думаю, свою роль сыграло распространение английского языка. Я француженка, люблю свой язык, но распространение английского языка помогает легче усваивать динамичные процессы глобализации, технологии и т.д.

Андрей Захаров, модератор:

— Позвольте мне тоже задать вопрос. Не кажется ли вам, что часть проблем Европы проистекает еще из того, что Европы стало слишком много? Зачем была нужна эта гонка 2004 года, когда были приняты сразу 10 стран? Я спрашиваю об этом потому, что когда мы бываем, предположим, в Бухаресте или в Софии, меня как жителя Москвы сразу же посещает мысль, что Россия более достойна быть членом Евросоюза, чем уважаемые мной страны. Зачем надо было так торопиться? Ведь есть какие-то ментальные факторы, которые нельзя столь быстро преодолеть и встроиться в европейский концерт.

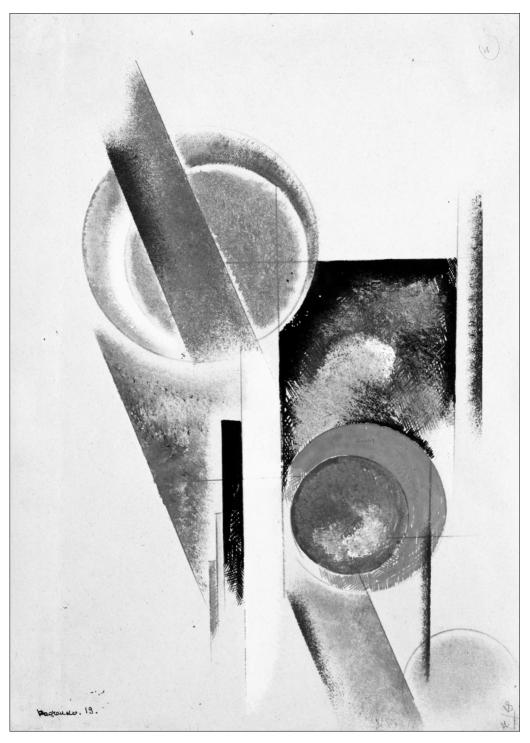
Натали Нугайред:

— Крупное расширение европейского проекта произошло 15 лет назад. после того как пала Берлинская стена. Некоторые думают, что это было слишком поспешно. Мне кажется, что это не так. Думаю, что это было необходимо сделать и привести народы этих стран в семью европейских народов. Это было повторное европейское объединение с целью исправления раздела Европы, которое произошло в Ялте в 1945 году. Если бы это объединение не произошло, то, думаю, было бы невероятное чувство фрустрации, досады и гнева, непонимания в странах Центральной и Восточной Европы, где, возможно, могли бы возникнуть условия для ультранационализма, возможно, даже насилия. Конечно же, это вовсе не значит, что они все были на 100% готовы к интеграции, соответствовали всем условиям. Мы это знаем. Но это было реализацией исторической и моральной ответственности.

В отношении России я как европейский гражданин мечтаю и надеюсь и никогда не перестану надеяться — на то, что Россия будет продолжать движение к европейской семье. Формально, институционально, как угодно. Хотя сегодня мы испытываем сложности в отношениях, тем не менее если Россия с ее культурой, идентичностью примет, что ее подлинные друзья не в Китае, а в Европе, тогда в один прекрасный день мы преодолеем все препятствия. Было много разных попыток сближения России с Европейским союзом, но ничего существенного достигнуто не было. Сейчас у нас очень сильный провал, дела приняли дурной оборот; думаю, ошибки были сделаны и с европейской стороны, и, возможно, в том, что были слишком наивны. Возможно, не смогли реально увидеть Россию такой, какая она есть. Но хочу сказать, что политическая система, режим России преднамеренно делает из Европы врага, внушая народу, что Европейский союз — это какая-то враждебная сущность. Это неправда, потому что настроения определяют большое чувство досады и непонимание. Если в один прекрасный день мы сможем каким-то образом вместе собраться, то ложь должна быть разоблачена.

Наталья Шейко, Москва-Киев:

— Ваше выступление произвело на меня очень сильное впенчатление. Это то, о чем я и люди моей профессии в Москве и Киеве часто говорим, и мы ждали от западной прессы такого проекта, как «Европа сегодня».



Александр Родченко. Композиция. 1919

Такой площадки для свежих идей, не догматических, что выходит за рамки пинг-понга пропаганды. То, что я сегодня услышала от вас, к сожалению, в Европе от журналистов слышу крайне редко. В связи с этим у меня вопрос: Как вы думаете, что именно мешает вашим коллегам мыслить, как вы? Что бы это могло быть, чтобы мы могли найти в прессе отражение наших общих надежд, раз много говорим об универсальных пенностях?

Натали Нугайред:

— Нам в «Гардиан» очень любопытно все, касающееся Украины, России, ваших надежд. Мы даем этим темам, этим событиям пространство для освещения, комментируем всё по этому поводу. Но вы правы в том смысле, что в век информации на нас обрушивается буквально какой-то безумный информационный циклон, который просто стирает все, что произошло до этого, очередной репортаж стирает предыдущий. Это вызов для всех медийных организаций. По мере того как мы утопаем в информации, нужно понять, решить, что важно, что будет иметь смысл, может быть, через 10 или 11 месяцев, когда мы оглянемся назад. Что мы писали, что мы говорили, какую информацию давали гражданам. Мне всегда было интересно вернуться назад, посмотреть, что мы писали 10-15 лет назад, что было важно тогда. Журналисты, как историки, пишут маленькие фрагменты истории, и очень важно понимать, что значимо. Это очень сложно. Мы все работаем также и в бизнесе. Медиа это тоже бизнес. Конечно, СМИ играют определенную роль в демократии, но это еще и предприятие, а если это не так, то их полностью финансирует государство. Это значит, что власть устанавливает контроль над содержанием того, что публикуется. В силу этого нарушается свобода информации. Поэтому в целом мы, конечно же, предприятия бизнеса. Это представляет собой сложность, особенно в конкуренции с Интернетом, новыми технологиями, которые совершенно трансформировали бизнес-модели традиционных медиа. В этой связи у меня два соображения. Первое: мы очень часто испытываем растерянность от обилия информации. Это не то чтобы отсутствие интереса или безразличие к интересным событиям. Нет. Мы просто никак не можем идентифицировать все, что будет потом иметь историческую значимость. Порой это заставляет нас сосредоточиваться на тех событиях, которые, наверное, нам и не нужны. В настоящий момент, например, все просто забито информацией о процессе по поводу Дональда Трампа, но я понимаю, что он нам важен. Мы с утра просыпаемся и смотрим, что он в очередной раз в Twitter выложил. Он словно президент какого-то Марса, прямо навязчивая идея. Все пытаются понять: что все это значит? Притом что есть и Британия, и проблемы Брексита. В силу этого психологически сложно людям, в том числе проживающим в Британии и самим работающим в медиаорганизации, сохранять сосредоточенность на Европе. Нужно ведь все сделать. Именно поэтому мы в «Гардиан» и пытаемся этот интерес к Европе сохранить.

Агнешка Каневская, Польша:

— Вы говорили о манифестациях в моей стране, которые являются симптомами европейского кризиса. Но до этих протестов — в марте 2017 года — Европейская комиссия представила Белую книгу «Будущее Европы». Перспективы и сценарии для ЕС к 2025 году. Это анализ вызовов, которые будет испытывать Европа, и пять сценариев развития Союза на ближайшее десятилетие. Как вы думаете, может быть, следовало бы такие амбициозные задачи ставить после того, как удастся разобраться с существующими проблемами, которые сейчас обостряются, и потом переходить к реализации проектов будущего Европы?

Натали Нугайред:

— Я думаю, что нужно делать и то и другое, потому что эти измерения взаимосвязаны. В политике, если вы можете определить отдаленную и амбициозную цель, у вас появляется энергия для решения проблем, которые актуальны сейчас. Именно поэтому после Брексита, прихода к власти Трампа в Европе формируется позиция в отношении того, что нужно перезапустить проект, поставить новые амбициозные задачи. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер несколько месяцев назад в своей речи уподобил Европу кораблю, в паруса которого снова подул ветер. Думаю, что он имел в виду не только экономику Союза, но и устойчивость системы в целом после ряда потрясений.

Говорят, что Европа двигается вперед только в результате кризисов. Может быть, это и так. Поэтому важно показать и честолюбие, и амбициозность, и цели, которые позволят решить нынешние проблемы — экономические, миграционные. Вопросы миграции стали катализаторами популизма, в частности, в странах Центральной Европы, но не только в них. Популисты манипулируют этой темой, чтобы добиться усиления своего влияния и навязать новый европейский нарратив.

Что можно сказать по поводу напряженных отношений между Польшей и институтами ЕС? Польша — первая страна, в отношении которой применена статья 7 Договора о Евросоюзе, которая никогда ранее не применялась. В то же время Польша сделала так много для консолидации Европы, что ее роль сложно переоценить, и мы должны испытывать благодарность в отношении Польши. Возникает парадоксальная коллизия. Поэтому так важно показать, что у Европы есть политика, обращенная в будущее, что у нее есть план решения миграционного кризиса. Такой план лишит голоса политиков, исходящих из националистических позиций, и лишит их догматического инструмента воздействия на граждан и европейские ценности. Это поможет смягчить трения между правительствами таких стран, как Польша, и евроинститутами.

Голос из зала:

— Мне кажется, что после расстрела 7 января 2015 года в Париже редакции журнала «Шарли Эбдо» журналистика в Европе должна была осмыслить это событие. Это была точка отсчета не только для журналистики, но и для Евросоюза в целом, который столкнулся с новым варварством, свя-

занным с иммиграцией, исламизацией Европы. Европа, где происходит дехристианизация, фактически принимает сейчас ислам. Эта мягкотелая, очень слабая позиция может привести к тому, что идея и сам проект Евросоюза будут торпедированы извне. Поделитесь вашим мнением о такой опасности исламизации Европы, разрушения ее идентификационных культурных кодов.

Натали Нугайред:

— Во-первых, я не считаю, что присутствие мусульман в Европе ведет к разрушению ее культуры, европейской цивилизации, европейских институтов. Категорически с этим не согласна, считаю, что это попытка манипуляции общественным сознанием. Я полагаю, что Европа, подобно лоскутному одеялу, — это смешение различных культур, религиозных верований, историческая мозаика, и ислам — часть этой культуры. Исламская культура процветала в южной половине Испании с VIII-IX до XIII–XIV столетий; на Балканах, в Венгрии, Румынии, Болгарии после падения Константинополя и воцарения Османской империи вплоть до Первой мировой войны. Это часть гобелена Европы. Говорить о том, что Европа должна быть однородным христианским континентом, — это попросту ложная интерпретация того, что есть Европа. И опасная. У нас есть важное христианское наследие — Католическая церковь, Православная церковь, протестанты, иудеи, но ислам присутствовал в Европе на протяжении многих веков. Надо знать, что число беженцев, приехавших в Европу в разгар миграционного кризиса — в 2015 году, примерно 1,5 млн человек. Это менее трех десятых процента населения ЕС. Да, в разных странах доля мусульман растет. Например, во Франции она составляет от 6 до 7%, если не ошибаюсь. В моей стране, кстати, далеко не всем мусульманам нравится, чтобы их так называли. Несмотря на культурное наследие, некоторые предпочитают, чтобы их считали, например, франко-алжирцами. Не все они идентифицируют себя с исламом, так же как не все идентифицируют себя с христианством. Моя семья — католическая, но я никогда не говорю о себе, что я — католичка. У каждого может быть то или иное отношение к религии, каждый волен отождествлять себя с какой-либо верой или вовсе нет. Идентифицировать всех въезжающих в Европу беженцев с исламом — значит отрицать сложность идентичности, надо с великой осторожностью к этому подхолить.



Игорь Злотников:

«Мир, который понимался как мир отдельных стран, закончился»*

Виктор Авотиньш, публицист, поэт (Рига, Латвия)

Возможно, вам, уважаемые читатели, мысли магистра экономики, члена совета Фонда науки Академии наук Латвии Игоря Волдемаровича Злотникова покажутся, как и мне, несколько непривычными или даже «неудобными» (как, например, мне его заявление о том, что век национальных государств закончился). Но мир действительно очень серьезно меняется. И если наши власти не готовы к адекватным времени политическим и народно-хозяйственным действиям, то по крайней мере мы должны по возможности больше знать о том, что нам предстоит в реальном будущем. Мы должны знать хотя бы то, чему, ради успешной жизни наших детей, следует их учить.

Виктор Авотиньш: В последнее время я встретил несколько серьезных людей, у которых чуть ли не апокалиптическое видение будущего. Они, например, считают, что третья мировая война вполне реальна. Возможно, ее эпицентром не станет Европа, но они об этом говорят как о допустимой реальности. Потому и хочу вас спросить, какие факторы сейчас определяют наше политэкономическое состояние как в широком, так и в более локальном контексте?

Игорь Злотников: Я, может быть, отвечу на этот вопрос неожиданно. Мы действи-

тельно находимся на переломе. Этот перелом отражается в сознании по-разному. Мы с вами еще в 2011 или 2012 году говорили, что действительно — идет трансформация и у нас нет адекватной системы понятий для ее понимания. В этом смысле я не лучезарный оптимист. Я понимаю, что идет война... В этом надо отдавать себе отчет. И в том, что это не привычная война с уничтожением зданий, территорий, инфраструктуры...

Идет война за умы, за сознание людей. И она во многом — война за будущее. Потому что всем в этом будущем жить, и то, как оно будет устроено, очень важно.

В.А.: Но такого рода война ведь имеет и некий развивающий, что ли, аспект.

И.З.: В этой драматической ситуации есть положительный момент, который я зафиксировал бы следующим образом: дальше так жить нельзя! Существующая экономическая система, основанная на ссудном проценте, дошла до своего предела. Совершенно невообразимая величина того же долга многих стран, социальное неравенство, система разделения труда, которая предполагает очень жесткую функционализацию людей, но не предполагает их развития, уже дошли до своего исторического предела.

Основная трансформация должна осуществляться в области новых технологических решений. Это осознали во многих странах и, понимая, что новые техноло-

^{*} Печатается с небольшими сокращениями. Baltic-Course.com 7.02.2018.

гии потребуют новых людей, стали трансформировать систему образования. Это сделали американцы. Они сделали это очень здорово, и фактически все технологические новшества — американские.

В.А.: Кроме того, один умник мне недавно процитировал Вивекананду*: если усовершенствовать только технологии и машины, то это ни к чему хорошему не приведет.

И.З.: Да! Поэтому очень важно трансформировать сознание людей. Как это сделать? Через систему образования! Если помните, в 2003 году на встрече G8 в Петербурге пришли к выводу, что надо что-то делать с системой образования...

В.А.: Неужели в отличие от нашей латвийской реформы это системно и профессионально организованный процесс, прежде прочего ставящий качество будущего общества, а не сиюминутные, политизированные амбиции (про нас — это мое личное мнение)?

И.З.: Конечно. В осуществлении этой реформы принимают участие такие авторитеты в области современного образования, как Петр Щедровицкий, Андрей Волков... Попытки привлечь латвийское образование к этому процессу закончились неудачно. Андрей Волков делал здесь в Риге доклад о реформе российского образования. Были приглашены ректоры... Они пришли, слушали, но не поняли. В Латвии среднее образование политизировано, а высшее образование воспринимается в основном как бизнес. Как бизнес, позволяющий зарабатывать тем, кто является владельцами учебных заведений. К образованию это не имеет никакого отношения.

В.А.: В то же время и в Латвии есть люди, которые, дабы исключить превалирование этого бизнес-аспекта, предлагают перейти только на государственное высшее образование...

И.З.: Как вам сказать? Это тоже не решает вопрос. У государства нет столько денег. Это иллюзия. В Америке пошли по другому пути. Они создали так называемые эндаумент-фонды**. Эти фонды позволяют формировать понятные годовые бюджеты и обеспечивают более или менее понятную систему жизни университетов. Есть фонды, в которые вкладываются выпускники вузов. И это позволяет университетам делать какие-то прорывные вещи.

Например, для Российской Федерации таким прорывом явился затеянный в 2005 году проект «Сколково». Есть три Сколкова. Есть место Сколково рядом с Москвой. Есть Школа управления «Сколково» и есть фонд «Сколково». Он занимается технологическими разработками. Московская школа управления «Сколково» реализует совершенно новую систему образования управленцев. В ней происходит подготовка ректорского состава для высших учебных заведений России.

Я участвую в некоторых программах МШУ «Сколково». Это один из немногих путей трансформации большой системы, который начинается с подготовки высших управленцев.

В декабре прошлого года закончилась конференция так называемых опорных университетов России, то есть региональных вузов, которые начинают выступать как основные драйверы развития регионов. Где собрать интеллектуальный ресурс? На уровне ощущений все понимают, что новая экономическая система будет основана на знаниях, технологиях, инновациях. Где эту основу взять? В уни-

^{*} Свами Вивекананда (1863–1902), выдающийся индийский философ и общественный деятель.

^{**} Эндаумент (англ. endowment) — целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, как правило — для финансирования учреждений образования, медицины, культуры.

верситетах, в региональных учебных заведениях!

В.А.: А каково в России качество отношений профессионалов от образования и власти?

И.З.: Конечно, это сложный процесс. И если бы не было поддержки администрации президента, то этого не было бы. Три, даже четыре министра пытались трансформировать систему образования. Начиная с Филиппова, потом Фурсенко, Ливанов. И сейчас нынешний министр Васильева. Они все понимают, что трансформация системы образования — это очень длительный и важный процесс. Все идет сложно, очень сложно. Ведь в России всегда считалось, что ведущие ресурсы страны — это нефть и газ. Однако самый важный ресурс страны — это люди!

Я рад тому, что нашел в Латвии единомышленников. В лице президента Латвийской академии наук Спаритиса и председателя Фонда науки Валентина Еремеева. Я понимаю, как им сложно... Потому что у нас в Латвии, к сожалению, с одной стороны, произошла некоторая подмена понятий, а с другой стороны, форма политической жизни, которая обсуждается как форма национального государства, пришла к своему историческому пределу.

В.А.: То есть?..

И.З.: То есть государство стало удобным для определенной категории лиц, которые занимаются политикой...

В.А.: Тут вроде надо добавить: в нынешнем их положении...

И.З.: В нынешнем их положении. Поэтому их основная проблема — бюджет, участие в дележке бюджета... Мы в сложной ситуации. Я сейчас сошлюсь на работу, которую выполнил покойный лат-

вийский экономист Петерис Гулянс. Он утверждает, что более 90% экономики Латвии — иностранный капитал, то есть Латвия является экономической колонией других стран.

В.А.: Глава «Дзинтарса» Илья Герчиков* сказал мне примерно то же самое. Главный рост ВВП (6% по сравнению с 2016-м) нам дает вывоз продукции трех предприятий — «Уралхим», «Уралкалий» и «Северсталь»... Остальной рост — за счет роста цен.

И.З.: Да, что идет через Латвию — это не латвийская экономика. Потому есть целый ряд вопросов, которые нужно очень серьезно понимать и не пытаться выяснять, кто виноват, а делать что-то вперед. По крайней мере пытаться делать. Именно это направление — чтото сделать — мне очень импонирует в Фонде науки.

В.А.: Но переть вперед без четкой оценки нынешнего положения — тоже ведь игра втемную. Чему Латвии в этом плане стоит научиться?

И.З.: Латвия — маленькая, но сложная страна. Здесь много разных слоев, общин и идей. Но Академия наук действительно может сконцентрировать самые здоровые (не политические, а интеллектуальные) силы и также привлекать людей из-за рубежа. Наука всегда интернациональна, то есть интеллектуальная деятельность не обязательно должна быть национальной. А Фонд науки, в моем понимании, как раз может выбрать те интересные направления, которые есть сейчас в Латвии, и организовать это все на мировом уровне.

В.А.: Но проекты АН, на которые даже выделены государственные деньги, как свидетельствует практика, смогут их получить лишь через несколько лет.

^{*} Илья Герчиков — глава латвийской парфюмерной компании «Дзинтарс»; доктор экономики, профессор.

После того как Минобраз удосужится разработать должные инструкции... Что это за процесс?

И.З.: Современная наука не существует как государственный институт, она существует как мировой, сложно организованный институт с очень сложным финансированием. Государство, да — у него есть научные программы, но основной заказчик — это транснациональные корпорации и международные команды. Различные прорывные технологии. Сейчас смена экономического уклада происходит в условиях цифровизации... Кто основные заказчики этого? Новые компании и новые люли.

В.А.: Да, но гуманитарные проекты еврофонды игнорируют...

И.З.: Разделение на естественные и гуманитарные науки достаточно условное. Финансируют тех ученых, у которых есть проекты. Наука сейчас объединяет и инженерию, и проектную деятельность. И это не только исследования. Проект подразумевает, что есть некая идея, которая оформляется и реализуется в разных организационных формах. И эта идея становится основной. Ведь все научные революции, и в этом смысле общественные революции, происходили как появление новой технологической идеи. Первая промышленная революция последовала после изобретения паровой машины. Вторая — после появления железных дорог. Третья — после изобретения двигателя внутреннего сгорания. Это все были инженерные проекты. Потом настала пора компьютерных технологий.

Сейчас, совершенно очевидно, грядет смена всей экономической системы. Именно этот процесс называется цифровизацией. Лидеры этого направления создают новую платформу — блокчейн*, которая позволяет за счет быстродействия, использования «биг-дейта»** забрать у огромного количества посредников, в том числе чиновников, очень многие функции и перенести их в компьютерные системы.

В.А.: Значит, многие люди станут лишними. Это больно...

И.З.: Конечно. Это очень серьезная проблема, которая, как я понимаю, осознается и чиновниками. То есть — зачем нам давать ход направлению, которое лишит нас же работы?

Очень простой пример. Несколько лет назад в Риге появился Taxify — компьютерная платформа, которая позволяет без посредников, напрямую контактировать с водителем автомашины. Он приезжает через две-три минуты. У водителя есть мой рейтинг как пассажира, я вижу его рейтинг как водителя... Мы оцениваем друг друга. Я почти уверен, что благодаря подобным прорывным технологиям в ближайшее время целый класс посредников будет убран.

В.А.: Это будет не так-то легко...

И.З.: Конечно, будет очень большое сопротивление. В Латвии чиновники к тому же достаточно устроенные в жизни люди... На них в какой-то момент были направлены основные бюджетные потоки.

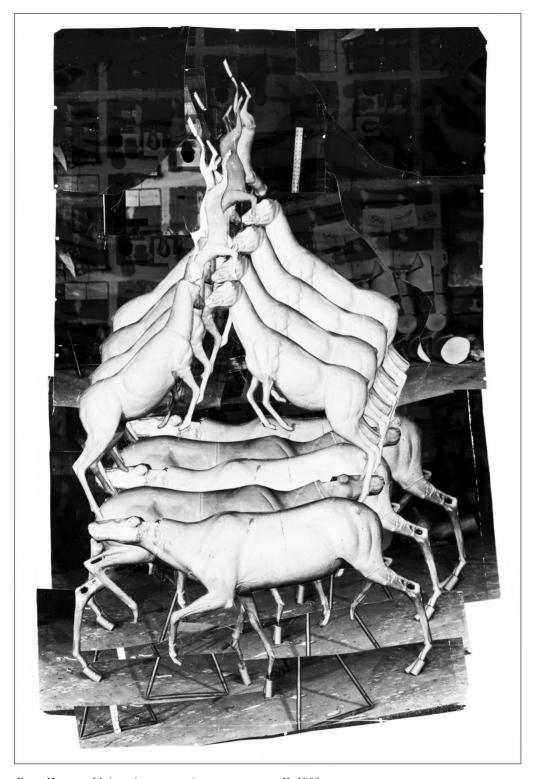
В.А.: Намекаете на левяностые голы?

И.З.: Да, это все были расклады полити-

^{*} Blockchain — публичная база всех транзакций, когда-либо совершенных в системе (англ. Blockchain, Block chain: block — блок, chain — цепочка).

Цепочка блоков транзакций — выстроенная по определенным открытым для всех правилам. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте Биткойн.

^{**} Большие данные (англ. big data) — серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети.



Брюс Науман. Модель для пирамиды из животных II. 1989

ческой структуры, это был типичный трайбализм*.

В.А.: А я в этом вижу причину некоторых наших нынешних проблем...

И.З.: Конечно, но зачем революции? Не нужно! Дела надо решать эволюционным путем. Технологическим путем. Это то направление, которое мы сейчас пытаемся осуществлять в Фонде науки.

В.А.: Уж извините, Игорь, но, судя по тому, как ваши инициативы воспринимают политики и даже руководители вузов Латвии, вы пока маргиналы. Что нужно для серьезного, сущностного прорыва?

И.З.: Чтобы воспринять эту новую ситуацию, ситуацию нового технологического уклада, новых компетенций, новых способностей, должна быть трансформирована система образования. Во многих ситуациях мы не должны воспроизводить то, что уже было и не работает.

В.А.: Это пока благие намерения. Латвийская картина образования пока полна глупостей. Хотя бы по отношению к трансформации тех же русских школ (мое личное мнение).

И.З.: Я свою позицию объявил давно: дело не в языке обучения. Дело в содержании образования. Чему учить? Какие виды деятельности, какие формы, методы, средства, какие организационные, управленческие структуры мы в это образование закладываем? Наша школа существует еще со времен Яна Амоса Каменского, когда нужно было очень быстро подготовить рабочую силу по классно-урочной системе.

В.А.: Кстати, Ян Амос Каменский один из тех, кто говорил, что по крайней мере до 12 лет образование должно быть на родном языке...

И.З.: Но это же очевидно. Если мы учим мышлению, то мышление связано с языком. Оно связано с понятийным строем языка. Если бы латышский язык имел свою науку, философию, понятия, которые соответствовали бы мировым тенденциям, на нем учились бы все в мире.

В.А.: Вывод — должно быть качественное обучение латышскому языку в русских школах Латвии. И чтобы учителя латышского в школах наименьшинств были достойными, гордыми представителями латышской нации.

И.З.: Идеальный вариант, если будет хорошая подготовка учителей. Это первично. Но это значит пересмотр очень многих программ подготовки учителей. Латвийская проблема сейчас, как я ее понимаю, — катастрофически низкое качество обучения. Потому что все учителя в основном старой формации.

В «Сколково», к сведению, издали сборник новых профессий. Там нет ни одной профессии, которые для нас привычны. Там нет ни физиков, ни химиков, ни историков... Сейчас нужны другая система образования, другие методы обучения, другая компетенция преподавателей. И конечно, все должны знать английский язык. Сейчас это основной язык шивилизашии.

В.А.: А я вот как бывший, отсталый технарь все-таки считаю, что без знания основ, скажем, физики создать что-либо технологически новое будет весьма сложно.

И.З.: Здесь все зависит от меры. Нельзя ставить перед выбором — либо это, либо то. В системе образования, как в любой гуманитарной системе, должна быть очень гибкая мера, понимание того, что происходит.

А латвийская проблема сейчас, как я счиаю, — низкое качество преподавания и подготовка учителей. Когда мне расска-

^{*}Трайбализм (трибализм, трайбализация, англ. tribalism, от лат. tribus — племя) — форма групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам.

зывают о системе повышения квалификации учителей — это на грани. Учителя приходят, отсиживают какое-то время на лекции и считается, что они прошли квалификацию.

В.А.: Значит, вы считаете, что в системе образования не произошла качественная, своевременная и грамотная смена учительских поколений?

И.З.: Я думаю не о смене поколений, а о том, что должны быть принципиально другие технологии обучения.

В «Сколково» есть целый набор прорывных идей, связанных с организацией управления образованием. Они дифференцировали систему высшего образования так, чтобы она стала более разнообразной.

А для средней школы в России был введен единый государственный экзамен. С большими трудностями, с большими проблемами, со скандалом.

В.А.: Единые правила, пожалуй, плюс... **И.З.:** Да, но смотрите, где сейчас производится наука. Наука производится в международных командах, которые вообще-то не в университетах и не в академиях наук. Возьмите те же проекты НАСА. Это либо корпоративные проекты, либо проекты международных организаций. Вот они и занимаются прорывной наукой.

В.А.: Но вот наш Иварс Калвиныш в своем Институте оргсинтеза мне представляется более свободным, чем если бы он оказался под каким-нибудь вузом.

И.З.: Конечно. В этом смысле должно быть много всяких и разных форм. Наша задача — объяснить, что не может быть такого понимания — здесь наука, а здесь образование. Это все переплетено. И, когда мы говорим с точки зрения управления, то видим и систему науки, и систему образования совсем по-другому. Это — управленческие проблемы. Хороший исследователь не должен заниматься управлением. Ректор не должен читать

лекции, он должен организовывать работу университета.

В.А.: Вот вы сказали, что даже ректоры латвийских вузов, образно говоря, не врубились в вашу тему. Врубилась Академия наук. Но коли так, какой вам видится интеграция идей фонда в народнохозяйственную политику, в общество Латвии? И соответствует ли форма управления в Латвии экономическому сознанию народа?

И.З.: Нет, не соответствует. Чтобы соответствовала, у тех, кто разрабатывает законы, должна быть совершенно другая компетенция. И это не совсем юристы. Это должны быть оформители определенных идей. В этом смысле законотворчество и законоприменение — две разные области. Но сами законы — не вечны. Должна происходить трансформация. И это серьезная работа, которая в Латвии возложена на сейм, его юридическую комиссию, но, никого не хочу обидеть, на мой взгляд, там просто не понимают, в чем их задача. Они считают, что законы очень хорошие, давайте их применять. Но законы, как и люди, живут свою жизнь. У них есть своя историческая роль. Прошел какой-то период исторической жизни законы должны меняться.

Да, действительно нужно все делать серьезно, концептуально. Но как раз эти навыки не формирует система образования. Система образования не учит анализировать ситуацию, выявлять проблемы, решать их в коллективе с разными профессионалами. Вот что может стать новым содержанием образования. Это не физики, химики, историки. Это же совершенно другие компетенции, совершенно другие умения, навыки и способности. Вот это сейчас и есть содержание нового образования: новые компетенции, новые способности, новые знания, новые умения, новые навыки и новые формы, в которых все это происходит. И проблема, конечно же, не в языке...

В.А.: Но пока мы тут об этом за пределами АН не думаем. Пока мы все наращиваем количество чиновников...

И. 3.: Я думаю, что в этом есть определенная серьезная болезнь страны.

В.А.: Мы что, не умеем управлять своей страной?

И.З.: Не умеем. Это и есть одна из серьезнейших проблем. Потому что управление страной — это не смена политических персонажей, которые участвуют в распределении бюджета, это не трата государственных средств на финансирование политических партий, цели которых, как правило, достаточно ограниченные.

Понимая все это, я испытываю надежду, что в Фонде науки мы сможем что-то сделать. В России, в МШУ «Сколково», я участвую в программах переподготовки управленцев в области образования. А здесь я встретил Оярса Спаритиса и Валентина Еремеева, которые тоже озабочены этой проблемой. Они понимают, что через политические механизмы тут ничего не сделать, а вот через Академию наук можно.

В.А.: Вы говорите о необходимости прорыва. Но будут ли у фонда, у латвийской науки для этого средства?

И.З.: Да, наука не просто недофинансирована, она нищенствует. Потому что вся система бюджета Латвии не предназначена для науки.

Вопрос: что делать? Один из вариантов посмотреть, что происходит в мире. А в мире происходит очень много интересного. И не надо видеть за словом «наука» лишь ученого, профессора... Знание сейчас действительно становится основанием новой экономической системы. Но эти знания постоянно меняются. Значит, нужны такие технологии, которые производят новые знания, нужна способность видеть проблему и уметь ее решать.

Эти все вопросы связаны и с тем, что сейчас в мире происходит серьезнейшая трансформация финансовой системы. Появление различных криптовалют, совершенно других ІТ-технологий. Они

Сейчас нужны другая система образования, другие методы обучения, другая компетенция преподавателей. И конечно, все должны знать английский язык.

Сейчас это основной язык цивилизации

появились не просто так. Например, биткойн становится средством платежа в достаточно разветвленной мировой системе интернет-коммуникации. Он не привязан к стране. Потому что мир, который понимался как мир отдельных стран,

В.А.: Однако напомню, что все технологические революции так или иначе вызывали серьезные политические потрясения.

И.З.: Вот мы сейчас и видим эти политические изменения. Что происходит? Июнь прошлого года... Петербургский экономический форум. Туда приглашают программиста Виталика Бутерина, который в Канаде разработал технологию эфириума (Ethereum), то есть реальную альтернативу биткойну, который разработал Сатоши Накамото. Виталика познакомили с Путиным. И Путин начинает это воспринимать как некоторое спасение из той кризисной ситуации, в которой оказалась Россия, ставя только на энергоносители.

Что происходит дальше? В РФ создают несколько команд по разработке технологий блокчейн. С целью убрать все опо-



140 Александр Родченков. Композиция (2). 1918

средующие звенья из различных разноуровневых связей. Потому что все понимают, что основной тормоз любого развития — чиновники. Я знаю, что есть три команды, которые разработали российский блокчейн, и эта технология действительно отрезает очень многие опосредующие звенья. Происходит это благодаря тому, что технология блокчейн, вопервых, прозрачна, а во-вторых, там есть так называемый смарт-контракт, который фиксирует разного рода отношения между людьми без участия промежуточных агентов.

Ситуация опосредующего звена пропадает. Все переводится в цифровую программу. На это сейчас выделены достаточно большие деньги. Создано Агентство стратегических инициатив. В разных городах появились так называемые Точки кипения, где молодежь включается в трансформационные процессы. Параллельно создана система профессиональных конкурсов. Большое количество бывших ПТУ переориентировалось на новые специальности, что позволяет принимать участие в мировых конкурсах профессионального мастерства WorldSkills.

В.А.: Но эти начинания нанесут удар по огромной армии российского чиновничества. Понимает ли Кремль, что, поддерживая это, может нажить себе врага? Готов ли Кремль к контрреакции со стороны бюрократии? Это даже не Навальный...

И.З.: Да, понимает. В России к тому же понимают, что путь западной демократии для нее не проходит. И я даже знаю почему: все упирается в чисто российскую специфику. Большая территория, разный уровень исторического развития...

Но в России сейчас есть «движуха»... Грубое слово, да? Эта «движуха» формируется при Агентстве стратегических инициатив, вокруг разных технологий будущего как совершенно самостоятельные общественные движения. Люди обсуждают, в каком будущем они хотят жить. И к этому подключается моло-

Но опять... В Латвии есть некоторое исторически сложившееся недоразумение (именно — недоразумение). Основной проблемой считается языковая проблема. Язык использовали как средство разделения. И даже сейчас, когда русские достаточно хорошо говорят на латышском языке, все равно почему-то считается, что латышам по-русски говорить не нужно. Это историческая глупость.

Мы в фонде очень хорошо понимаем основные мировые вызовы. Промышленная революция, связанная с цифровизацией, инженерные инновации. В первую очередь цифры могут решать многие задачи, которые сейчас решают люди. Дальше — увеличение продолжительности жизни. В Германии 80 лет это уже норма. И наконец, переход от аналоговой к цифровой экономике.

И главное — система образования. Именно к этому надо готовиться. А не спорить, на каком языке кого учить. Готовим ли мы детей к будущему? Может, про будущее надо говорить на китайском языке? Понимаете? У нас есть уроки китайского языка? Мы должны давать на эти вызовы адекватные ответы. Мы сейчас пытаемся что-то сделать. Фонд запускает интересные проекты. Мы начали обсуждать, какие проекты можно реализовать в Латвийской академии наук. Во-первых, нужно сделать ревизию и выявить возможности мирового уровня. Оказалось — есть такие. В частности, самые точные космические часы, которые разработаны в Латвии и которыми сейчас заинтересовались швейцарцы. Еще красивая идея — создание Института мировых проблем. Чтобы мы понимали, что происходит в мире. Пока в Латвии этого не понимают. Но нужна постоянная нормальная системная работа с информацией. Место, где можно было бы делать эту работу, — не политическая партия. Это место — Академия наук.

Дальше идея, которую когда-то выдвигал философ Арнис Ритупс. Институт опережающего развития. Проект «Латвия». Что такое Латвия в новой ситуации? Это уже не национальное государство, которое зрело в умах XIX, XX веков... Происходит развитие идеи государства.

В.А.: Разделяете ли вы точку зрения, что наше вступление в ЕС и сохранение нашего государства — два состояния, находящиеся во взаимном противоречии?

И.З.: Я считаю, что, вступив в ЕС, Латвия сделала правильно. Другое дело, что она сделала это не по своему разумению, ее туда затащили. Польша, например, пришла туда со своими идеями и до сих пор этим пользуется. У Латвии должна была быть своя концепция освоения Европы. Ведь Латвия — это европейский проект.

В.А.: Что такое проект «Латвия»? Каковы его цели и откуда у него появятся средства?

И.З.: Цели — новые технологии образования, университеты, новые школы для одаренных детей при Академии наук. Людей надо учить все время. В мире реализуется много интересных, содержательных проектов. Обратите внимание на последний доклад «Римскому клубу», который опубликован в конце 2017 года и называется «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Основная идея доклада: Старый мир обречен. Новый мир неизбежен! Вот о чем надо думать сегодня. А средства? Средства будут из разных источников. Не из бюджета. Бюджет неэффективен. Это должны быть те же эндаумент-фонды.

В.А.: Все-таки в какой-то мере мне кажется, что вы рассказываете сказку. Да, я ее вроде понимаю, если речь идет

о намерениях Академии наук. Но вы же ставите государственные цели. Хотя бы в части системы образования. А на этом уровне, на уровне нашего политического и даже общественного сознания, я пока не вижу для этого системной основы. И даже, если говорить о научной среде, я знаю по крайней мере четырех людей, идеи которых местная научная среда в свое время не посчитала нужным понять и защитить. Один из них сейчас признан в Калифорнии, другой академик России... Конечно, я признаю ваш энтузиазм, поддержку президента АН Оярса Спаритиса, которого хорошо знаю и очень уважаю, но пытались ли вы, например, для реализации какой-то идеи контактировать с людьми во власти, с предпринимателями? И что из этого получилось?

И.З.: Вот, например, та же крипто-Создан фонд AETERNUM (https://www.aeternum.io/en), который сегодня начинает готовить новое интернетсообщество под идеи развития новых проектов в Латвийской академии наук. Эти проекты будут финансироваться криптовалютой BitLats. Эта криптовалюта выпускается только с целью наполнить эндаумент-фонд AETERNUM и участвовать в латвийских технологических проектах. Грубо говоря, в этом фонде можно участвовать только за BitLats либо за другие криптовалюты. Евро не годится. Это особая суверенная возможность развивать латвийские технологии. Есть серьезный проект «смарт-сити». Мы ходили с ним в Рижскую думу — они пока не дали ответ.

Но откликнулся Вентспилс. Здесь готовы выделить территорию под проект. Значит, мы будем действовать через Вентспилс. Китайцы откликнулись, индусы откликнулись. А вот от Министерства экономики мы получили письмо на имя руководителя Фонда науки Латвийской АН Валентина Еремеева, из которого

следует, что они не поняли, что мы хотим.

А мы работаем, чтобы к столетию Латвии выпустить криптовалюту — BitLats, собрать эндаумент-фонд, который в мире организуется через выпуск так называемых токенов — цифровых аналогов акций в крипто-

валюте. Сегодня это все начинается в Интернете. Значит, все могут участвовать. Весь мир, где все происходит в цифре. Сейчас обороты этого рынка превышают ВВП крупных стран. Латвия со своим

ВВП в 24 миллиарда евро просто не видна. Это — другой мир, это другая технологическая платформа, другая экономика. Проект AETERNUM — это проект из «нового мира», к которому будут подключены и латвийские ресурсы. Именно латвийские ресурсы, которые будут реализовываться под эгидой Фонда науки в Академии наук.

В.А.: Но криптомир приведет и к другой политической конструкции мира.

И.З.: Естественно. Уже привел. Если мы это понимаем, то начинаем действовать совершенно спокойно. Кроме того, мы же идем в открытую, в законодательном порядке. Я и вам, и всем это рассказываю. Нам говорят: да, спасибо, интерес-

В.А.: А как с мозгами? Кто их будет для этого собирать?

И.З.: Вот для этого мы и постараемся сделать проект, в котором есть идея создания нового университета при Академии наук. Это идея, с которой я пришел в фонд. Это будет учебное заведение особого типа. Не для школьников, а для тех, кто хочет понять, что происходит в мире. И это не будет университетом, куда приходят абитуриенты слушать лекции.

В.А.: Но вот профессор РТУ Янис Ванагс в связи с человеческими ресурсами рисует печальную картину нашего национального будущего. Он говорит: эмиграция будет продолжаться, латыши

Наступит мир сотрудничества. И вся Европа будет развиваться не как национальные государства, а как Европа городов и регионов

станут меньшинством.

И.З.: Давайте будем все латвийцами! Латвиец латышского происхождения, латвиец русского происхождения, латвиец еврейского происхождения... Я понимаю, что в латышском языке латвиец несет не тот коннотат, что в русском. Я бы предложил всем нам придумать новое слово (понятие) для обозначения той новой нации (не национальности), которая сейчас живет в этой Богохранимой стране. Проблемы языков нет. Просто все национальные культуры должны занимать свое достойное место. Но национальные государства — это отработанный проект XX века.

Поэтому, если мы хотим быть в мейнстриме мира, мы должны ориентироваться на реальное будущее. У нас сейчас есть Фонд науки АН Латвии. Мы хотим сделать так, чтобы наши действия были понятны, публичны, общественно полезны и благодаря им люди поняли бы, что мир меняется...

Наступит мир сотрудничества. И вся Европа будет развиваться не как национальные государства, а как Европа городов и регионов.



Ричард Пайпс 1923–2018

Умер Ричард Пайпс

Сергей Мошкин, выпускник Школы 1998 года

Мы познакомились с ним в Перми на семинаре Школы. Тогда, по итогам семинара, я сделал вот эту запись. Пусть сегодня она станет некрологом Ученому...

...Он зашел в зал как-то незаметно, немного смущаясь массы людей, специально собравшихся увидеть его — настоящего живого Пайпса.

Невысокого роста, с заметной сутулостью, крупный нос и проникновенные глаза. В нем не было позы, манерности. Это был стареющий профессор, мудрый человек, знающий о жизни больше, чем многие из присутствующих.

Что он думал в этот момент? Верил ли в то, что когда-то окажется в России, изучению которой посвятил свою жизнь, что его книги станут откровением для нас, что когда-то для россиян он превратится из идеологического врага в доброго друга.

Профессор Пайпс... Это его в небезызвестные времена партийные пропагандисты называли «империалистическим ястребом» и «идеологическим диверсантом», это его книги о русской истории прятали от широкой публики в пресловутых спецхранах, а за интерес к ним человек мог попасть в разряд неблагонадежных. Все это было и, к счастью, было в прошлом. Теперь он с нами, и мы вместе.

У каждого большого ученого есть свой герой, личность, постижению которой он посвящает свою жизнь. Для Пайпса таким героем стал наш соотечественник, уроженец Перми, Петр Бернгардович Струве. Из восемнадцати написанных профессором книг, своей главной книгой он называет книгу о Струве.

А что мы сами знаем о Струве? Практически ничего, кроме уничижительных высказываний «вождя мирового пролетариата». Струве — «иуда», Струве — «предатель», Струве — «трус, испугавшийся революции». И марксизм-то у него, следуя Ленину, был каким-то неправильным, а всего лишь «легальным». И к стыду своему, не подозреваем, какую грандиозную политическую и интеллектуальную роль сыграл Петр Струве в жизни нашей страны на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий.

146 In Memoriam

Пайпс заново открыл нам Струве, вернул из небытия. Он проделал эту работу за нас, россиян, невольно напоминая, как неуважительны мы к собственной истории, как часто забываем людей, ее творящих, их мысли и поступки, а забывая, обкрадываем свою интеллектуальную жизнь, довольствуясь скудным пайком идеологических штампов.

Нам надо заново постигать свою историю, постигать самих себя. Без истории нет настоящего, нет будущего. Это правда. И эти уроки нам преподносит честный ученый Ричард Пайпс.

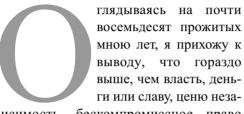
На семинаре он говорил о судьбе русского либерализма, пытался донести до аудитории простую, но очень важную мысль: укоренившийся в умах россиян антиевропеизм губителен для России. В свое время это хорошо понимал герой его книги Петр Струве, но проиграл. Это понимают и нынешние российские либералы. Но каков будет итог их усилий?

Современное российское общество вновь, как и во времена Струве, расколото. Причем считается, что либерализм — это главное идейное оружие «новых западников», что уже исключает его принятие на вооружение нынешними «самобытниками».

Что делать? — читайте Пайпса, читайте биографию Струве, и, может быть, в ней вы найдете ответ, как примирить эти два традиционных для России типа мышления и предотвратить варварство.

18 мая 2018 г.

Ричард Пайпс Заключительные мысли*



висимость, бескомпромиссное право быть самим собой в словах и делах. Я считаю свои убеждения и взгляды настолько же неотъемлемыми от меня, как и мое тело: они — это я в буквальном, хотя и не в физическом смысле.

Для тех из нас, кому судьба подарила возможность выбирать свое будущее, а таких меньшинство на земле, важно решить на раннем этапе жизни, к чему мы стремимся, и затем реализовать задуманное. Я уверен, что никакие чуждые мотивы, особенно деньги, не должны отвлекать человека от его предназначения.

У нас должны быть обязательства — по отношению к людям, работе, убеждениям, определенным местам. Меня удручает стремление современных молодых людей к свободе без всяких обязательств, к намерению всегда получать выгоду для себя. Достойная жизнь никогда не достигается таким образом.

Остаемся ли мы одинаковыми с детства до старости? Читая сейчас кое-что из написанного в молодости, я часто бываю озадачен чувствами, которые испы-

тывал прежде... Мои ожидания от жизни, мои пристрастия и неприязни, мои опасе-



ния и надежды в прошлом существенно отличаются от нынешних.

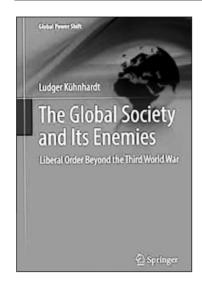
Человек, достигший определенного возраста, знает, что он живет в условиях отсроченного смертного приговора. Подсознательно человек начинает в душе прощаться с друзьями и самыми любимыми вещами — с летним домом, книгами и произведениями искусства, семейными фотоальбомами — и задаваться вопросом, кому это достанется после его ухода из жизни и что с этим сделают.

Когда же придет смерть, мои сожаления будут такими же, как и у Праксилы Сикионской, гречесой поэтессы V столетия до нашей эры.

Самое восхитительное из того, что я оставляю, — это солнце; А самое прекрасное после него — это мерцающие звезды и лик луны; Но также и огурцы, которые созрели, и груши, и яблоки.

^{*} Свою автобиографию «Я жил. Мемуары непримкнувшего», изданную Школой в 2005 году, выдающийся американский историк, специалист по России и Советскому Союзу, бывший советник президента Рональда Рейгана завершает четырехстраничным текстом, который он назвал «Заключительные мысли». Предлагаем читателю несколько значимых, на наш взгляд, наблюдений автора.

Либерализм и война



Ludger Kuhnhardt. *The Global Society and Its Enemies: Liberal Order Beyond the Third World War.* — Cham, Switzerland: Springer, 2017. — 276 p.

Автор этой книги, похоже, мрачный человек. Подобно «говорящим головам» российского ОРТ, России-24 и Russia Today, он тоже убежден, что третья мировая война уже началась. Но, по его мнению, главным признаком нового глобального катаклизма выступает то, что теперь, в отличие от двух предшествующих мировых войн, мы имеем дело не с конфронтацией между государствами, но с глобальной распрей внутри самих суверенных

государств. Согласно подсчетам, приводимым на страницах книги, с 1990 по 2016 год в гражданских войнах, идущих на планете, погибло более 10 миллионов человек (р. 15–16). У нынешней ситуации несколько причин. Прежде всего европейцы, да и Запад в целом, преисполнившись после 1945 года решимости навсегда покончить с войной на европейском континенте, упустили из виду иные регионы планеты, из-за чего деколонизация для многих стран Африки и Азии обернулась подлинной катастрофой. В итоге, увлекшись политическим самолюбованием, Европейский союз незаметно для себя оказался в тяжелейшем кризисе, который был обусловлен реалиями вне западного контроля. Повсеместный провал модернизации в третьем мире обернулся тем, что восстание глобального Юга стало для глобального Севера гораздо более серьезным вызовом, нежели былой конфликт капитализма с коммунизмом.

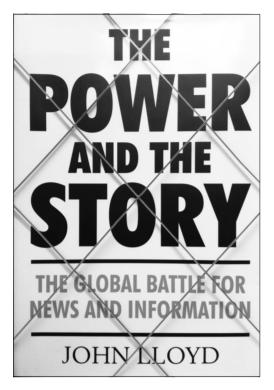
Дело усугубляется еще и тем, что глобальный Север — в лице бывшего Востока и бывшего Запада, ныне соединившихся под капиталистическим зонтиком — расколот и неспособен противостоять сегодняшним проблемам единым фронтом. Трещины расползаются во все стороны сразу: США при Трампе взяли курс на экономический национализм и политическую самоизоляцию, внутри Европейского союза все меньше

единства, а Россия, отстаивая принцип неограниченного национального суверенитета, всеми силами старается разобщить Запад и в то же время науськать на него Юг. При Путине, как представляется автору, наша страна обратилась к привычному для себя политическому мышлению: империалистическому, националистическому и агрессивному (р. 34). Первой серьезной жертвой, доказывается в книге, стала бедная Украина; за ней, впрочем, могут последовать и другие постсоветские страны. Однако, по мнению Кюнхардта, эта историческая фаза не будет длиться вечно — когда-нибудь, рассуждает автор, и на московской Красной площади может случиться «евромайдан» (р. 37).

Книга, однако, интересна не столько геополитическими фантазиями, касающимися нашей родины (довольно банальными, надо сказать), сколько панорамным видением всего комплекса современных общемировых проблем. Автор не ограничивает свой анализ исключительно политическими аспектами жизни человечества; огромное внимание он уделяет и тому, как на политические конструкции современного мира давят глобальные проблемы естественного происхождения, включая изменение климата, деградацию природной среды, популяционный взрыв. Немецкий ученый пытается понять, как все эти страсти и стрессы сказываются на традиционных либеральных ценностях; его интересуют метаморфозы, происходящие, например, с правами и свободами человека, а также с «открытым обществом» как таковым. Этот ценностный свод переживает не лучшие времена, его все чаще оспаривают, а иногда и целенаправленно разрушают, но Кюнхардт в конечном счете оптимистичен: он, как верный ученик Карла Поппера, настаивает на том, что «глобальное общество» способно, при солидарных и целенаправленных усилиях, не только устоять, но и окрепнуть — подобно тому, как в прежние времена «открытое общество» смогло одолеть своих врагов и пережить коммунизм.

> Андрей Захаров, доцент факультета истории, политологии и права РГГУ

Отсутствие новостей – дурная новость...



В 2003 году «Саусерн Метрополис Дейли», издаваемая в крупном китайском городе Гуанчжоу газета, опубликовала смелое расследование обстоятельств смерти рабочего-иммигранта, задержанного полицией за отсутствие документов и помещенного в центр временного содержания. Разоблачения в газете действий администрации центра вызвали бурную реакцию общественности и в конце концов привели к серьезной системной реформе. Это было время взлета независимой журналистики в Китае, достаточно рискованного испытания для редакторов и издателей, вынужденных постоянно учитывать пределы терпимости государственной власти. С тех пор, однако, пространство для свободной журналистики в Китае существенно сузилось: председатель Си Цзиньпин консолидировал власть и поставил гражданское общество под жесткий контроль. Сегодня, пишет Джон Ллойд в книге «Власть и информация»*, китайские репортеры знают, что могут позволить себе «прихлопнуть муху», но не станут «стрелять в тигров», к примеру — в службы безопасности или руководство Коммунистической партии.

Ллойд напоминает, что в 1990-х годах и в первое десятилетие XXI века профессиональная, независимая журналистика распространилась на развивающиеся страны и бывшие коммунистические государства — даже в условиях сохранявшихся авторитарных режимов. Однако в последние пять лет, с появлением новых авторитарных режимов и ростом популизма, прогресс может обратиться вспять.

В книге Ллойда предложен хорошо документированный обзор мировой общественно значимой журналистики, испытывающей давление со стороны диктаторских режимов, жесточайшей рыночной конкуренции и технологической революции. Автора в большей степени интересует традиционная профессиональная журналистика, чем теория «медиа и коммуникаций», что тем более значимо в период, когда пишущие о журналистике, кажется, увлечены исключительно «трансформационным потенциалом социальных сетей и новых технологий». Разумеется, мы испытываем давление факторов технологического перехода. Однако Ллойд полагает, что заявляемые журналистикой права на демократическую легитимность и контроль над государственной властью и корпорациями выходят за рамки современных или будущих технологий.

Джон Ллойд давно и плодотворно пишет для «Файнэншл Таймс»; он соучредитель Рейтеровского института изучения журналистики в Оксфорде. Ллойд выражает, пусть и с оговорками, поддержку многовековой англо-американской традиции независимого репортажа и журналистских рас-

^{*} О книге Джона Ллойда «Власть и информация» // Файнэншл Таймс, 6 августа 2017. (John Lloyd. The Power and the Story. The Global Battle for News and Information, Atlantic Books. 2017. 480 p.)

следований, несмотря на все ее несовершенство и ошибки. Автор рассуждает о неудачах американских и британских журналистов, сопоставляя их опыт с сильными сторонами других традиций, в частности более идеологичной журналистики европейского континента. Он с большим знанием дела и интеллектуальной изысканностью пишет о недавней борьбе за развитие серьезной, общественно значимой журналистики в таких разных странах, как Египет, Эфиопия, Италия, Индия и Китай. Книга содержит и главу о Дональде Трампе, но она относится по большей части ко времени до ниспровергающих традицию «твиттер-штормов» президента Трампа и его непрестанных риторических выпадов в адрес независимых американских СМИ. Главный вопрос эпохи «альтернативных фактов» — это вопрос о будущем самой идеи профессиональной журналистики, основанной на принципе доказательности и независимого расследования. Не следует забывать и об экономических факторах: во многих промышленно развитых демократических обществах основанная на рекламе модель финансирования, служившая источником независимой репортерской профессии, почти развалилась. Теле- и видеоинформация также вступают в пору экзистенциального дискомфорта по мере распространения мобильных устройств и снижения аудитории традиционных коммуникационных каналов. Однако картина не столь уж мрачна, в чем нас и убеждает яркая, убедительная аргументация Ллойда в защиту общественного вещания в Великобритании, Германии и других странах. Число подписчиков платных информационных источников, в частности в деловой сфере, растет, и это оставляет поле для надежды в отношении устойчивых, профессиональных изданий, подобных «Файнэншл Таймс», «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост».

Однако в среднесрочной перспективе большую озабоченность, пожалуй, вызывают не экономические вопросы, а нападки на саму легитимность и принципы конституционной защиты журналистики. Если бездеятельные американские суды и

законодатели пойдут за Трампом, ослабляя защищенность прессы, особенно журналистов, пишущих и вещающих о «секретных материалах», это лишь усилит диктаторов за границами Америки в их стремлении подавлять собственные СМИ.

Во многом риторика Трампа усилила редакции американских изданий, послужив иллюстрацией, почему материалы и репортажи о конфликтах интересов или, к примеру, о расследовании ФБР российского вмешательства в выборы 2016 года жизненно важны для конституционной устойчивости страны. Так, материалы о «расследовании российского вмешательства», которые Трамп часто отметает как «фальшивые новости» или незаконные утечки информации, безусловно, воспринимаются некоторыми агентами ФБР как необходимое условие для их беспрепятственной службы, пусть даже президент угрожает им увольнением. При президенте Трампе, после десятилетия сумятицы, вызванной цифровой революцией и снижением роли печатных изданий, многие журналисты вновь осознали свое предназначение.

Однако для беспечности нет оснований. Об этом свидетельствует правоприменительная практика, относящаяся к знаменитой Первой поправке к Конституции США. Лишь в 1964 году, в деле «Таймс против Салливена», Верховный суд США установил критерии квалификации клеветы в отношении официальных лиц. И лишь в 1971 году, в деле о «документах Пентагона», Верховный суд существенно осложнил для правительства блокирование публикаций под предлогом защиты национальной безопасности. Законы штатов, которые позволяют журналистам сохранять в тайне источники информации и сопротивляться предписаниям правительства, находятся в опасности со стороны следующих за Трампом популистов. В конце концов, как ясно показано в книге Ллойда, здоровье независимой прессы неотъемлемо от состояния всех демократических и гражданских прав.

Стив Колл, декан Школы журналистики Колумбийского университета



Владимир Рыжков, политик, публицист

Контрапункт

ПАМЯТЬ И МИФЫ О «ДИКТАТУРАХ СЧАСТЬЯ И ПОКОЯ»

ГДР: миролюбивое государство, читающая страна, спортивная нация? Редактор-составитель Т. Гроссбельтинг. — М.: Мысль, 2017. — 384 с.

Удивительное дело — больше половины населения современной России жили в сознательном возрасте в СССР и, следовательно, должны иметь ясные и непротиворечивые представления о том, что это было. Но не тут-то было!

Чем дальше удаляется от нас 1991 год, год драматического распада Советского Союза, тем, как кажется, российское общество хуже помнит советскую жизнь и еще хуже понимает ее. Память о реальной жизни при социализме все больше замещается бесчисленными мифами: о самом вкусном на свете пломбире, самой жирной колбасе, доступном всем желающим бесплатном жилье, жизни в достатке и без дефицита. Молодежи все чаще рассказывают небылицы о самом лучшем в мире оборудовании, о превосходстве СССР в технологиях, об отдыхе буквально всей страны на роскошных курортах Крыма и Кавказа, о счастливой жизни в колхозах и миролюбивой внешней политике Москвы. «Совтальгия» впервые остро проявила себя в конце кризисных 90-х, когда вся страна бросилась слушать советские «Старые песни о главном». И с той поры ностальгия по СССР только набирает силу.

В немалой степени этому способствует почти полное отсутствие научной рефлексии на тему политической природы и обыденных черт советского строя и советского общества. Редкие исследования в этой области только подчеркивают этот зияющий пробел научного знания о важнейшем периоде отечественной истории. Если же общественные науки не предоставляют обществу достоверных знаний и объяснений советского прошлого, общество все больше падает в объятие мифо-

творцев, пропагандистов и апологетов. Утопические мифы о золотом веке в СССР укореняются тем сильнее, чем менее в стране серьезного обсуждения и чем болезненнее воспринимается травмирующий опыт кризисных 80-90-х голов.

Со схожей проблемой столкнулась после 1989 года — после падения Берлинской стены и объединения двух германских государств — Германия. В ней вскоре после объединения появилась (среди восточных немцев) и набирала немалую силу «остальгия» — ностальгия по счастливой и беззаботной жизни в коммунистической и просоветской ГДР. Как и в России, в новых землях ФРГ важную роль в утопической мифологизации гэдээровского опыта сыграли сложности переходного периода — закрытие предприятий, безработица, потеря многими прежнего социального статуса и чувства защищенности, чувство «второсортности» по отношению к более богатым и влиятельным западным немцам.

Так ли опасна «совтальгия» и «остальгия» для успешного развития России и ФРГ? Или же речь идет лишь о закономерной и не слишком беспокоящей реакции двух схожих посткоммунистических обществ на слишком резкие, радикальные, ломающие привычные быт и социальные отношения перемены? И время само залечит общественные раны и сдаст в утиль мифы о «диктатурах счастья и покоя» — по мере ухода поколений, живших в СССР и ГДР?

«Совтальгия» и «остальгия» несут в себе две серьезные опасности практическую и моральную. Практическая опасность заключается в том, что постгэдээровское и постсоветское общества, ностальгируя по политической диктатуре и экономике всеобщего распределения, выдвигая на первый план модель государства-ментора, господствующего над каждым человеком и всем обществом, как и модель экономики, в которой решения принимает чиновник, а не предприниматель и где от отдельного человека ничего не зависит, блокируют тем самым модернизацию своих общественно-политических систем и отношений, а также предопределяют свои неудачи в глобальной рыночной конкуренции. В результате миф о счастливой жизни в СССР/ГДР буквально блокирует современное развитие российского и восточногерманского обществ, а миф о «богатой жизни» в СССР и ГДР обрекает восточногерманцев и россиян на застойную бед-

Гэдээровская и советская мифология должна быть расколдована. Трезвая правда о коммунистическом прошлом нужна не только во имя святой самой по себе цели — исторической правды, но и как необходимое практическое условие для реформ, инноваций, самоизменений, отказа от моделей, как раз и доведших СССР и ГДР до исторического и государственнополитического краха (оба «прекрасных» и «счастливых» государства прекратили свое существование в силу нежизнеспособности и неконкурентоспособности своих общественно-политических и экономических систем). Моральная же опасность двух ностальгий состоит в оправдании и нормализации принципиального аморализма в политике и общественной жизни. Режимы СССР и ГДР (как и других коммунистических диктатур) оправдывали любые свои преступления против личности, свободы, собственности, общественной солидарности и человеческого достоинства как раз тем, что взамен подавали на стол раздавленных ими народов «самый вкусный пломбир» и «уверенность в завтрашнем дне». Нормализация насилия, бесправия, безмолвия, безволия и покорности, всевластия государства и ничтожности человека перед его лицом разрушает все моральные основы общества. Ностальгия по аморальным системам закрывает дорогу для становления правового и конституционного государства, создания справедливого и независимого суда, уважения личности и индивидуальной свободы. Зато открывает путь к обогащению правителей за счет остального народа, насилию и бесправию, разрушению общественного доверия и согласия. Мифологизированный и обласканный народной памятью аморализм ничего не оставляет от «общего блага» — единственного смысла существования государства. О каком «общем благе» может идти речь, если на место моральных ценностей и принципов «совтальгия» и «остальгия» тащат из прошлого прямо противоположную идею — господства политической целесообразности? Когда ради заполучения «самого вкусного пломбира» хороши буквально все средства. И когда при достижении государством своих целей (от строительства БАМа до победы в войне) вопрос цены, включая человеческие жизни, не обсуждается в принципе.

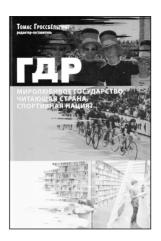
Безобидные на первый взгляд «совтальгия» и «ностальгия» на деле очень опасны. Они способны наглухо закрыть для восточных немцев и россиян историческую перспективу не только свободы, но и достойного существования.

Немцы раньше нас осознали эту проблему и эту опасность, «остальгия» уже много лет находится в центре как общественных дискуссий, так и научных исследований в ФРГ. Немцев пугает сохраняющееся отставание в развитии восточногерманских земель, как и сложности культурной и социальной интеграции двух частей германского государства (ФРГ до сих пор во многом остается «одним государством двух народов»)

Прекрасным примером всестороннего и глубокого анализа «остальгии» и гэдээровского прошлого является вышедшая недавно и на русском языке коллективная монография группы германских историков «ГДР: миролюбивое государство, читающая страна, спортивная нация?». Авторы сборника констатировали, что «воспоминания о ГДР... продолжают носить взаимоисключающий характер, их едва ли можно привести к единому знаменателю». А также то, что в официальной «исторической политике» рассказ о ГДР носит исключительно черный, негативный характер, что существенно расходится с памятью самих восточных немцев, гораздо более терпимых к своей прошлой жизни. И еще один разрыв первого и второго — с академической исторической наукой. Авторы делают попытку не примирить, не сблизить, но хотя бы уменьшить пропасть, пролегающую между тремя этими немецкими дискурсами по истории ГДР.

Структура книги могла бы вдохновить российских историков на попытку написания подобного труда. Немецкие авторы постарались объективно исследовать 14 самых важных и устойчивых мифов о ГДР. В частности, о передовом мировом уровне восточнонемецкой экономики и промышлен-

ности, о ГДР, как «государстве Штази» (политической полиции), о молодежи в ГДР, равенстве и широких правах женщин, о ГДР как «рабоче-крестьянском государстве», о доброжелательном восточногерманском «интернационализме», о мирной внешней политике, о великом спорте ГДР как символе превосходства общественной модели, о ГДР — «самой читающей стране», об антифашизме восточного Берлина, о «народном» характере армии ГДР, о «самом лучшем школьном образовании» — образце для Финляндии и др. Строгое историческое исследование подтвердило мифологический и пропагандистский характер большинства из этих направлений, как, впрочем, и неоднозначность части



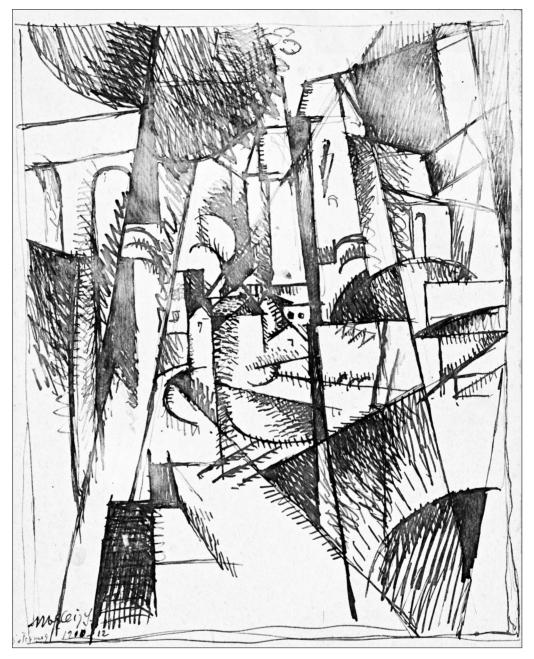
Многое из того, что описывают авторы, коррелирует, что и понятно, с нашим советским опытом.

Экономика ГДР в течение 40 лет существования восточного государства все сильнее отставала от западногерманской. Например, производительность труда была поначалу ниже на 9–12%, а под конец уже на треть. Многие крупнейшие государственные программы (нефтехимия, атомная энергетика, авиастроение, электроника) кончились крахом. Главные причины неудач, как и в СССР, — плановый характер экономики и вытекающий из этого дефицит — качества и инноваций. Как и в СССР, в ГДР затевались время от времени косметические экономические реформы, но все они ничего не меняли по существу.

Как и в СССР, социальная политика ГДР «с самого начала никак не соотносилась с экономическим потенциалом» страны. Необходимость выполнять широкие социальные программы вела к росту внешнего долга. За 1970-е годы он вырос в 10 раз — с 2 до 25 млрд валютных марок. Экономика постепенно шла к упадку и в конце концов к краху.

Чрезвычайно интересен для нас анализ роли Штази (Министерства безопасности ГДР), а также исторической эволюции этой роли. Если в «сталинский период» (1945–1956 гг.) диктатура СЕПГ опиралась на тотальное насилие, и Штази была основным его инструментом, то в 1970-е годы, при Э. Хонеккере (как в СССР — при Л. Брежневе) — по мере некоторого повышения уровня жизни уменьшилось идеологическое давление на граждан и снизилась потребность в репрессиях. В этот период Штази начала заниматься в первую очередь «сбором информации, контролем и манипуляциями». Кризис конца 1970-х вновь вызвал недовольство населения и репрессии Штази в последний период существования ГДР снова расширились. В целом можно сделать общий вывод — без структур ВЧК — НКВД — КГБ в СССР и Штази в ГДР диктатуры коммунистических партий не удержались бы так долго.

Как описать и определить состояние двух советских обществ в последние десятилетия их истории? На примере рабочего класса ГДР авторы приходят к выводу: «для рабочего класса более характерным было нерасторжимое сосуществование одобрения и неприятия, приспособленчества и брюзжания, послушания и протеста... угрюмая лояльность».



Альберт Глейзес. Пейзаж с мостом и виадуком. 1910

Схожая картина открывается в исследовании роли и места спорта в ГДР и СССР. Целью руководства ГДР было опередить в спорте высших достижений ведущие западные державы, прежде всего ФРГ и США, и поднять тем самым собственный престиж, укрепить легитимность диктатуры СЕПГ в глазах граждан. Для этого применялись осмотр всех детей с целью отбора самых здоровых и крепких из них, огромный гос-

аппарат тренеров и спортивных функционеров, дорогостоящие базы подготовки.

На спорт высоких достижений тратились колоссальные деньги, в то время как площадки для развития физической культуры в городах и при школах пришли в полный упадок. Здесь не было ни спортивной одежды, ни инвентаря. Многие великие спортсмены убегали из ГДР на Запад (более 600 известных спортсменов за период существования ГДР).

Наконец, в ГДР была создана государственная системам допинга, которая приносила золотые медали, но калечила здоровье спортсменов (особенно спортсменок). А «в дни, когда рушился режим СЕПГ, оказалось, что политическая роль спорта высоких достижений ГДР не имеет никакого значения».

Мифом на поверку оказывается и представление о ГДР (как и о СССР) как «социальном государстве». Гарантии права на труд в реальности означали скрытую безработицу (под конец ГДР — 15% от занятого населения), низкую производительность труда и низкое качество продукции, хронически низкую заработную плату. Не решило руководство ГДР (как и СССР) и пенсионную проблему: до самого конца пенсии оставались крайне низкими, а сама система — несправедливой.

Как и СССР, ГДР был милитаризированным государством. Каждый четвертый или пятый из всех занятых состоял в военных или полувоенных организациях или имел по работе отношение к вопросам внутренней или внешней безопасности. «Образ миролюбивого государственного социализма был не более чем мифом». Более того, «военные и полувоенные структуры составляли несущую конструкцию в архитектуре господствующего режима СЕПГ». Сама армия была строго изолирована от общества и отнюдь не была народной.

При всем сходстве опыта граждан СССР и ГДР между ними в то же время были очевидные различия. СССР не был страной разделенного народа и у него не было «Западного СССР» с более высоким уровнем жизни и более свободной жизнью. В этом смысле перед глазами граждан СССР и нынешней постсоветской России не было и нет примера другой, более привлекательной «национальной жизни». Это делает задачу преодоления «совтальгии» более сложной, чем преодоление немцами

Кроме того, в ФРГ задача осмысления коммунистического прошлого масштабно решается на государственном уровне. Созданы специальные ведомства и учреждения, занятые осмыслением немецкой истории, специальные комиссии и экспертные группы, федеральные фонды и федеральные уполномоченные и т.д. В России нет ничего подобного, такая задача даже не ставится. Более того, российский постсоветский авторитаризм черпает вдохновение из режима СССР и всячески культивирует и эксплуатирует советские мифы и советскую культуру, отыскивая в них в том числе и собственную легитимность.

Завершая, хочется повторить: Россия остро нуждается в исследованиях и выводах, подобных тем, что нашли себе место в обсуждаемой здесь крайне интересной и поучительной книге.

КОГДА РОССИИ ПОНАДОБИТСЯ КЕЙНС?

Остальский А. Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест. — Спб.: ООО «Издательство Пальмира», 2017. — 384 с.

Лидеры ГДР Вальтер Ульбрихт и Эрих Хонеккер десятилетиями пытались обеспечить выживание восточногерманского коммунистического государства, спасти его от исчезновения с карты Европы. Для этого они разделили Берлин непреодолимой стеной (к тому времени на Запад из ГДР убежало до 15% населения). Пытались делать косметические экономические реформы, наращивали внешний долг. Ничего не помогло: история ГДР кончилась политическим и экономическим крахом, шесть бывших земель ГДР в 1990 году стали частью Федеративной Республики Германия.

Другой спаситель — великий британский экономист Джон Мейнард Кейнс оказался куда успешнее. Он задался целью спасти западный свободный капитализм от разрушительных кризисов, таких как Великая депрессия конца 1920-х — начала 1930-х годов. И добился своего. При всех периодически случающихся кризисах мировой капиталистической системы (последними такими ударами стали кризисы конца 1990-х и кризис 2008—2009 годов), Великая депрессия не повторилась ни разу. И теперь уже не повторится — мир вооружен экономической теорией Кейнса и способен противостоять циклическим неурядицам, время от времени досаждающим современным экономикам.

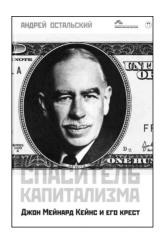
Путь спасения капитализма оказался нетривиальным и сложным. Кейнсу пришлось разбираться с глубинными причинами Великой депрессии, включая саму природу человека и человеческого знания, пределы возможностей государства и общества в их влиянии на социальные и их частный случай — экономические процессы. Кейнсу пришлось разработать в высшей степени сложную экономическую теорию современного общества, чтобы достичь простой цели — научить народы успешно бороться с экономическими кризисами. Сделал он это с блеском и остается по сей день одним из самых влиятельных и цитируемых мыслителей всех времен и народов. Нет ни одного правительства в мире, которое не применяло бы в своей экономической политике те или иные «кейнсианские рецепты».

Популярный и много пишущий об экономике и истории экономической мысли журналист Андрей Остальский (с 1994 года проживающий и работающий в основном в Лондоне) посвятил Кейнсу свою новую книгу «Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест». Главная цель книги — объяснение широкому кругу читателей простым и понятным языком сложной терминологии теории Кейнса и показ примеров ее актуальности для нашего времени. Книга успешно решает обе эти задачи и будет полезна всякому, кто хочет разобраться в кейнсианстве, не влезая в объемные и трудные тексты самого Кейнса.

Непреходящее влияние Кейнса определяется тем, что он лучше и точнее всех определил причины экономических рецессий и депрессий (в конку-

рентной рыночной экономике) и кроме того дал исчерпывающие и точные рекомендации по противостоянию кризисам.

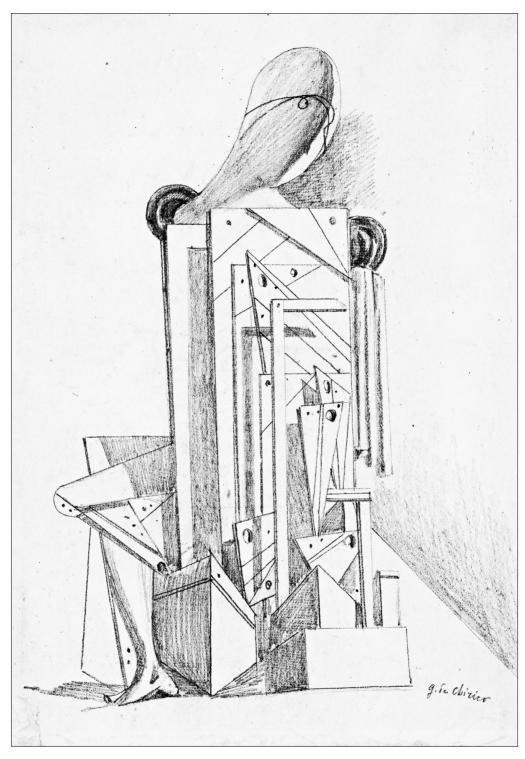
Кроме того, он едва не помог миру избежать Второй мировой войны. В 1919 году 35-летний экономист входил от британского казначейства (Минфина) в правительственную делегацию на парижских переговорах по итогам Первой мировой войны. В своем меморандуме премьер-министру Ллойд Джорджу Кейнс предложил формулу мира, которая могла бы уберечь пораженную Германию от реваншизма и прихода к власти радикалов-нацистов. Кейнс предлагал не обкладывать Германию непосильными для нее репарациями, ведущими к разорению экономики и обнищанию и



озлоблению немецкого населения. Вместо этого экономист предложил ввести финансовый механизм, напоминающий нынешний МВФ (также созданный по проекту Кейнса), для послевоенного восстановления Европы и самой Германии. План был отвергнут, прошло жесткое предложение французов о взыскании с Германии максимальных репараций, что и создало со временем условия для новой войны.

Кейнс был, пожалуй, единственным человеком на свете, который понимал катастрофичность наложенных на Германию непосильных выплат еще до момента принятия этого рокового решения союзниками-победителями. Он писал в своей записке Ллойд Джорджу 5 июня 1919 года: «Если мы стремимся разорить, довести до обнищания Центральную Европу, то, смею утверждать, расплата не заставит себя ждать. И тогда ничто на свете не сможет надолго оттянуть приход сил реакции и отчаянные конвульсии революции, в сравнении с которыми ужасы последней войны покажутся чепухой и которая, вне зависимости от того, кто выйдет из нее победителем, уничтожит цивилизацию и весь прогресс, достигнутый нашим поколением». Проиграв в споре о судьбе Германии, Кейнс ушел в отставку из казначейства. Он написал книгу — бестселлер «Экономические последствия мира», где предал гласности свои антивоенные и провосстановительные для Германии и Европы аргументы. Его мрачные пророчества сбылись, что вознесло автора на небывалую высоту как популярности, так и интеллектуального и политического влияния не только в Великобритании, но и во всем мире.

Кейнс не был социалистом (частое, но беспочвенное обвинение в его адрес). Напротив — он был либералом, целью которого всегда было спасение капитализма, защита свободы, рынка и демократии от марксизма и любых других форм тоталитаризма. Изучив причины Великой депрессии, он пришел к выводу, что главная задача государства во время кризиса — активные действия по сохранению занятости. Люди работают, зарабатывают, тратят, поддерживая тем самым спрос на продукцию бизнеса. Это, в свою очередь, снижает безработицу, влечет рост экономики и доходов. Поэтому не надо бояться кредитовать экономику государственными деньгами, увеличивать государственный долг (в разумных пределах) и так далее. Все это называется контрциклическая политика — когда экономика,



Джорджо де Кирико. Кондотьер. 1917

поддержанная государством, снова пойдет в уверенный рост, поддержку следует сократить, а долги вернуть. Теперь такие представления являются общим местом, но когда Кейнс создал свою теорию борьбы с кризисами, она стала откровением, существенным уточнением классических экономических теорий.

Основные свои предложения по борьбе с кризисами Кейнс опубликовал в серии статей 1933 года, собранные потом в книге-бестселлере «Средства достижения процветания». Многие его идеи успешно использовал в своем антикризисном Новом курсе президент США Франклин Рузвельт. Например, широкомасштабные государственные инвестиции в инфраструктурные проекты. А еще — не повышать налоги на бизнес, не бояться инфляции, снижать процентные ставки, делая доступными кредиты для предпринимателей.

Призывая Рузвельта и других западных лидеров в условиях кризиса «брать левее», Кейнс, хорошо изучивший сталинский Советский Союз, решительно отвергал советскую модель монополии на власть, Госплана и тотального регулирования экономики. «Кейнс категорически восставал против марксистской идеи победить любовь к деньгам государственным насилием, считая это опасным заблуждением». Он писал без обиняков: «Я не готов принять веру, которая равнодушна к тому, сколько свободы и безопасности есть в повседневной жизни людей... Как я могу восхищаться политической системой, которая находит свое выражение в том, чтобы шпионить за семьями и группами людей у себя в стране, и в том, чтобы баламутить чужие общества, вызывая там неурядицы и тратя на то и другое миллионы». Кейнс был острым критиком капитализма и его врожденных пороков и стремился при этом его усовершенствовать, если не вылечить, то по крайней мере радикально смягчить течение его хронических болезней. Кейнс пишет: «Авторитарные государственные системы наших дней якобы решают проблему безработицы, отказываясь от эффективности и свободы. Но существует возможность с помощью правильного анализа вылечить эту болезнь, сохранив при этом и свободу и эффективность».

Мы продолжаем жить в мире Кейнса и с точки зрения режимов международной торговли и международных финансовых институтов, созданных после Второй мировой войны при непосредственном участии великого экономиста. Кейнс был главной звездой Бреттон-Вудской экономической конференции ООН в 1944 году, итогом которой стали создание МВФ, Всемирного банка и либерального режима международной торговли. Также он обосновал планы послевоенного восстановления Европы при решающей поддержке США, реализованные в знаменитом Плане Маршалла. Идеи международного сотрудничества во имя сохранения мира и процветания народов, отброшенные в 1919 году, нашли наконец свое воплощение.

Применимы теория и практические рецепты Кейнса в современной России? И да, и нет. Так в 2008–2009 годах на фоне острого экономического кризиса и падения ВВП на 9% российское правительство, в полном согласии с Кейнсом, субсидировало внутренний спрос и доходы населе-

ния из накопленных резервов, смягчив тем самым прохождение кризиса и не допустив снижения уровня занятости и доходов населения. Сейчас, в годы уже десятилетней стагнации экономики, государство удерживает нас от спада с помощью масштабных инвестиций (Олимпиада в Сочи, форум АТЭС во Владивостоке, чемпионат мира по футболу) и огромного оборонного заказа для военной промышленности. Государство снижает процентные ставки и инфляцию, надеясь простимулировать кредитование бизнеса и инвестиции. Но эффект от этих усилий невелик. Всему виной структура экономики (больше половины которой находится в руках государства и в высшей степени монополизирована), а также чудовищное по запутанности, затратности и давлению на предпринимателей государственное регулирование. Права частной собственности остаются незащищенными, коррупция убивает стимулы к добросовестной конкуренции и инновациям. К этому после 2014 года добавились санкции, растущая международная изоляция России. Кейнс писал свои рецепты для рыночной экономики и правового государства, но современная Россия не является в полной мере ни рыночной, ни тем более правовой. В специфических российских условиях денежная эмиссия и государственные инвестиции в большей степени способствуют не экономическому росту и инновациям, а безудержному обогащению чиновников и приближенного к ним бизнеса, росту неравенства, бегству капиталов за рубеж, девальвации национальной валюты. Андрей Остальский справедливо заключает: «Российская экономика находится в таком ненормальном состоянии, что рецепты Кейнса кажутся в ней совершенно неприменимыми». Только когда мы решим структурные проблемы и исправим вопиющие перекосы регулирования и управления, Кейнс понадобится нам в полной мере. Свободное предпринимательство и правовое государство вот та среда, в которой имеют значение экономические, а не политологические теории.

В книге Андрея Остальского еще много полезного и познавательного. Он подробно излагает основные положения и идеи главного труда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), в том числе применительно к реалиям современной экономики. Описывает знаменитый и фундаментальный спор Кейнса и австрийского экономиста Фридриха фон Хайека, прослеживает судьбу теории Кейнса в современной экономической науке и ее бесчисленных разветвлениях. Повествует о самой личности Кейнса, о его магнетическом воздействии на умы современников и потомков.

Даже спустя 30 лет после ухода СССР и советской государственно-плановой экономики в историческое небытие, после возвращения в нашу жизнь рынка и частной собственности Россия остается в экономическом отношении малообразованной страной. А многие решения экономических и политических властей повергают в изумление своим непрофессионализмом и вредоносностью для экономики и общества. Нам следует учиться и учиться экономике — со все большим усердием и упорством. В этом нам помогут такие яркие и полезные книги, как книга Андрея Остальского о Кейнсе.

В своей новой книге «Просвещение сегодня: дело разума, науки, гуманизма и прогресса» («Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress» (Viking, 2018) известный американский психолог, лингвист, популяризатор науки Стивен Пинкер утверждает, что настоящее намного лучше, чем принято считать.

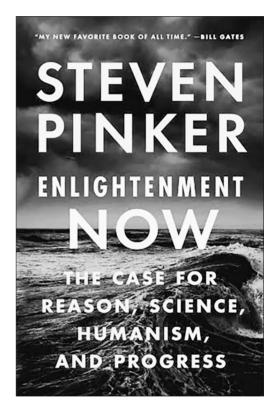
Обозреватель влиятельного американского журнала The New Republic **Айзек Чотинер** счел тему важной и неоднозначной и встретился с автором книги, чтобы получить ответ на непростые вопросы.

Действительно ли мир становится лучше?

Айзек Чотинер: Что, по вашему мнению, неверно в расхожей оценке нашего настоящего в сравнении с прошлым?

Стивен Пинкер: Моя книга иллюстрируется графиками, которые показывают, как улучшилось благосостояние человечества. Читая сегодняшние газеты, вы думаете, что мир охвачен войнами и эпидемиями, а уровень преступности только растет, но графики показывают, что все обстоит совсем не так: кривые войн, эпидемий и преступности идут вниз, а значит, эти условия жизни человечества улучшаются. Мы живем дольше, на планете меньше войн, меньше людей погибает в войнах. Меньше случаев насильственной смерти. Меньше насилия в отношении женщин. Больше детей идут в школы, включая девочек. Все меньше безграмотных. У нас больше свободного времени, чем когда бы то ни было у наших предков. Урон, наносимый болезнями, все меньше. Все меньше случаев голода на планете. То есть практически все показатели, которые можно измерить и подвести под оценку благосостояния человека, улучшились за последние двести лет и особенно — за последние двадиать лет.

А.Ч.: Что вы хотели сказать своей книгой, кроме того что у человечества «дела



идут лучше»? Ваша задача — сконцентрировать информацию в одном месте, или же речь о том, что нам следует пересмотреть наши взгляды на положение вещей?

С.П.: Да, я совершенно убежден, что мы должны научиться думать по-другому. Я рассматриваю факты прогресса в контексте идей, которые сделали прогресс

возможным. Мы должны задать вопрос: собственно, почему «дела идут лучше»? Это результат вмешательства таинственной силы Вселенной? Справедливость заложена в порядке вещей? Или вещи становятся лучше благодаря тому, что мы говорим о них? Ответ: конечно, нет! Эта тенденция стала возможной только в результате освоения конкретных идей и ценностей, которые появились в эпоху Просвещения. Как только человечество приняло эти идеи и ценности, прогресс стал возможен. И то же верно для сегодняшнего дня. От того, продолжим ли мы разделять эти ценности, зависит прогресс в будущем.

Я свожу эти идеалы к рациональному разуму, науке и гуманизму. Разум нужен, чтобы при анализе ситуации мы не попадали в плен догмы, авторитета, харизмы и интуиции. Наука — чтобы мы оценивали реальность, основываясь на максимальном понимании, а не суеверии или фольклоре. И гуманизм — благо для мыслящих людей — должен перевешивать такие факторы, как величие нации, распространение веры или триумф отдельной этнической группы.

А.Ч.: Одно из критических замечаний по поводу вашей книги состоит в том, что она отражает точку зрения людей, находящихся у власти или же просто очень состоятельных. Этим людям нравится такое положение вещей. Ваша книга получила очень высокую оценку Билла Гейтса и Марка Цукерберга. Один мой друг предположил, что, если бы мы вернулись лет на 115 назад и кто-то сказал, что самые состоятельные люди на планете — условные Рокфеллеры благосклонно отнеслись к книге, утверждающей, что в тот момент людям живется лучше, сегодня мы приняли бы такую оценку с некоторым недоверием. Не кажется ли вам, что нам надо более скептически относиться к тому факту,

что людям, подобным Гейтсу или Цукербергу, симпатична эта книга в силу того, что она описывает положение вещей так, как это нравится им.

С.П.: Этот аргумент мне кажется не очень веским. Выходит, что если Биллу Гейтсу понравилась книга, то с книгой что-то не то. Я не очень прослеживаю логику. Более того, я считаю, что сам Билл Гейтс вполне заслуживает доверия. В отличие от филантропов прошлого он не просто называл своим именем концертные залы, но вкладывал свои деньги в благие дела, следуя традиции гуманистической этики. Я думаю, что он руководствовался буквально следующим вопросом: «Как сделать так, чтобы вложенные средства послужили на благо максимально большому количеству людей?» Таков, например, один из его проектов — борьба с распространением инфекционных заболеваний в развивающихся странах. Мы же понимаем, что он мог распорядиться своими деньгами совсем иным способом.

А.Ч.: Я не пытаюсь сказать, что Гейтс плохой человек. Но, например, вы пишете в книге: «Несмотря на то что среди западных интеллектуалов принято заниматься самобичеванием по поводу проявлений расизма, самыми нетолерантными оказываются как раз незападные страны». И кажется, что один из вопросов, которые вы поднимаете в книге, заключается как раз в том, что самобичевание — это не так уж уместно, что, возможно, мы слишком строги по отношению к себе самим.

Здесь мы как раз возвращаемся к вопросу о Гейтсе и Цукерберге. Говоря о ситуации 100- или 1000-летней давности, мы всегда можем посмотреть с двух сторон: с одной стороны, все действительно стало лучше и есть повод для праздника, с другой — независимо от того как плохо

было 100 или 1000 лет назад, все еще не так хорошо, как могло бы быть, и есть место для самокритики.

С.П.: Конечно, в мире много проблем, но самобичевание не решает ни одну из них. Если у меня чувство вины за уровень бедности в развивающемся мире, то это никак не помогает спасти чью-то жизнь или накормить детей. Я думаю, что за такой постановкой вопроса стоит сомнение — хорошо ли, этично ли быть богатым. И здесь я возражаю, потому что не считаю такие рассуждения осмысленными.

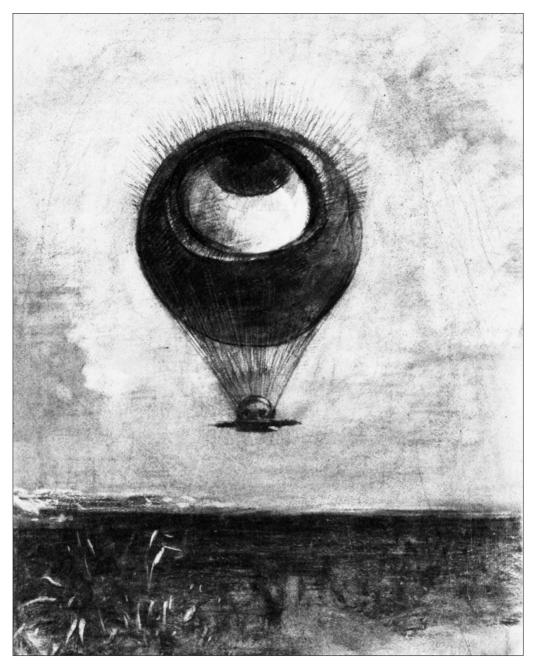
А.Ч.: Я не имел в виду, что то, что нравится Цукербергу или Гейтсу, сомнительно или что мы можем упрекать богатых людей за то, что им нравится эта книга, или за то, что они богаты. Я пытался выйти на тему отношения к подобным вопросам. Интересно, что вы не считаете самокритику оправданной. Я бы не согласился с вами. Мне кажется, что самобичевание, которое мы наблюдаем в западных обществах — а речь именно о западных обществах — в отношении расизма или женоненавистничества, сыграло роль в борьбе с этими явлениями.

С.П.: Безусловно, как отдельные личности мы должны быть самокритичными, то же относится к обществу. Но как только речь заходит об осуждении всего общества, оно становится критикой по отношению к другим людям. Не так уж много людей открыто заявляют: «я расист» или «я сексист». Но зато очень многие обвиняют других. Таким образом, я пытаюсь показать, что сами по себе признание своей вины, самобичевание, публичное самоуничижение и покаяние увеличивают наш социальный капитал, но только внутри нашей группы единомышленников. Это не делает других людей лучше. Это не помогает лечить болезни. Не свергает тирана. Смысл морального прогресса, разумеется, не в том, чтобы указать на виновных и заставить их каяться, а в том, чтобы вскрыть проблему и найти пути ее решения. В этом принципиальная разница.

Кстати, приметы самобичевания Запада обнаруживаются в результатах социальных опросов, проводимых во всем мире. В подобных замерах граждане разных стран отвечают на вопросы, верят ли они в равенство полов, равенрелигий, прав меньшинств. Результаты этих опросов показывают, что население западных стран обычно менее предвзято по сравнению с жителями других стран, где довольно часто отмечается предубеждение относительно других религий. Я считаю, что человеку вообще свойственно относиться с меньшим уважением ко всем, кто отличается от него самого, и один из даров Просвещения как раз в том, что мы можем и должны противостоять подобным проявлениям человеческой природы. Для объективности надо отметить, что прогресс коснулся всех стран, просто какие-то страны на этом пути продвинулись дальше остальных.

А.Ч.: Многие считают, что две главные угрозы для устойчивого развития — ядерное оружие и глобальное потепление. Ядерное оружие — как плод человеческой изобретательности и глобальное потепление — как результат многих действий, одно из которых — экономическое развитие и модернизация обществ. Думаю, мы оба согласимся, что это является экзистенциальной угрозой для всего мира. Как эти два явления соотносятся с вашими взглядами на науку и прогресс и на то, что они принесли миру.

С.П.: До сегодняшнего дня горючие ископаемые считались великим благом для человечества. Их открытие привело



Одилон Редон. Воздушный шар-глаз. 1898

к отмене рабства, эмансипации женщин, более доступному образованию для детей, увеличению продолжительности жизни, обогащению знаний. Но мы не сможем долго протянуть просто на сжигании природного топлива. Если через сто лет природные запасы планеты

иссякнут, а человечество не позаботится о том, чтобы ограничить выбросы парниковых газов, и просто продолжит пользоваться природными ресурсами как ни в чем не бывало, тогда действительно правомерным окажется философский вопрос — не лучше ли было бы

остаться на уровне развития Средних веков, когда продолжительность жизни редко переваливала за 30 лет, грамотностью едва владело 10% населения, но зато проблема глобального потепления никогда бы не встала перед человечеством. Не знаю, как вы отвечали бы на этот вопрос, но пока, может быть, рано его залавать.

Точно так же если бы случился ядерный холокост, то любой, кто выжил, имел бы право задать вопрос: стоило ли оно того? Но, повторюсь, я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда этот вопрос уместен. Думаю, что в нашей ситуации мы обязаны понимать, что следует сделать, чтобы предотвратить возможные катастрофы, пользуясь благами науки и техники; как отказаться от использования углеводородов; как изъять из арсенала ядерное оружие. Надо, чтобы энергия, которая тратится на риторику, была направлена на корректировку курса, которым идет человечество.

А.Ч.: Мне кажется, что угроза глобального потепления, даже если мы не осознаём ее до конца, выглядит достаточно устрашающе и может привести к таким катастрофическим последствиям, что нам в любом случае пора пересмотреть существующую точку зрения на прогресс.

С.П.: Я согласен, что надо этим заняться, но — и я об этом подробно рассуждаю в книге — мы должны понять, как нам сохранить максимум благ для человечества и при этом минимизировать риски для планеты. В частности, максимально уменьшить выброс газов, вызывающих парниковый эффект, потому что нам в любом случае в течение следующей сотни лет придется придумать, как очистить атмосферу от излишков углекислого газа. Для решения этой проблемы недостаточно задаться вопросом, был ли

прогресс большой ошибкой, потому что сам этот вопрос ничего не решает и, напротив, только ведет к еще более длинному ряду вопросов без ответа. Не лучше ли подумать, как обеспечить процесс получения энергии с меньшим выбросом углерода.

А.Ч.: Вернусь к вопросу ядерного оружия. Я не знаю, какова вероятность настоящей ядерной войны. Не знаю, могут ли вступить в войну Индия и Пакистан или США и Северная Корея, но мне кажется, что мы близки к ситуации, когда немыслимо ужасное стало мыслимым, и пора задуматься о последствиях прогресса.

С.П.: Соглашусь с тем, что изобретение ядерного оружия было большой ошибкой человека. И, возможно, стало результатом ряда исторических обстоятельств, связанных со Второй мировой войной. А именно — были брошены все силы на разработку атомного оружия, чтобы успеть получить его до того, как оно окажется в руках нацистов. Поэтому я допускаю мысль, что если бы не было Гитлера, то не было бы и ядерного оружия. Предполагая худший из возможных исходов, о которых не хочется думать, мы должны представлять себе если не ядерную зиму, то ядерную осень. Я согласен, что мы стоим на пороге угрозы существованию человечества: есть ряд чудовищных сценариев, лаже если они не заканчиваются исчезновением человека как вида. Например, в случае обмена каких-то стран ядерными ударами мы окажемся в немыслимо тяжелой ситуации, но едва ли это станет хуже, чем то, что уже случалось с человечеством. В худшем случае, например наступления ядерной зимы, у человечества не окажется опыта преодоления проблемы. Есть ряд других не менее чудовищных сценариев развития событий, которых мы во что бы то ни стало не должны допустить.

Я не пытаюсь сказать, что мы должны по инерции двигаться тем курсом, который исторически сложился. В частности, я имею в виду отклонения, связанные, например, с решениями, принимаемыми администрацией президента Трампа. В ходе избирательной кампании президента шло очень широкое обсуждение таких вопросов, как терроризм, применение оружия полицией, хранение личных данных, экономическое неравенство. Конечно, все эти вопросы важны, но вряд ли по масштабам они сравнимы с последствиями ядерной войны. Я был бы рад увидеть, что вопросы ядерной стратегии, ядерного будущего и политики применения ядерного оружия получили большее внимание.

А.Ч.: Что могло бы опровергнуть ваши аргументы? Если бы действительно началась ядерная война, могли бы вы сказать: «Да, развитие мысли после эпохи Просвещения и наше понимание роли науки привели нас в эту точку»? Или же, напротив, оказавшись в такой точке, мы должны признать отход от идеалов Просвещения?

С.П.: И то и другое. Сама способность посеять хаос такого уровня действительно была бы невозможна без науки. Но система ценностей, если она допустила подобное, это вопиющее нарушение основ гуманизма. Так, идеология нацизма не взялась ниоткуда и имела под собой историческую логику, являясь противоположностью гуманизма, потому что допустила преимущество одной расы над другими и доминирование общества над личностью, эскалацию насилия, милитаристскую истерию и территориальный захват.

А.Ч.: Мы считаем себя страной, которой нравится думать, что на нее оказали влияние идеи Просвещения, и которая использовала эти идеи для того, чтобы стать самой богатой и влиятельной стра-

ной на планете. Повлияли как-то выборы президента на ваше мнение об Америке и нашу способность следовать идеям Просвещения? Я специально спрашиваю о президенте Трампе, потому что он лично отказывался от этих идей много раз — и не только на словах, но подтверждая это своим поведением и заявляя о своих принципах, что шокировало многих, включая меня, когда стало понятно, что он выиграл.

С.П.: В силу многих причин нельзя сказать, что Соединенные Штаты находятся в авангарде просвещения, хотя мы можем считать Американскую декларацию независимости и Конституцию самыми первыми и великими из даров Просвещения. Соединенные Штаты были задуманы как нация просвещения, но мы то и дело позволяли себе действия, которые идут вразрез с идеями Просвещения, вели себя в международных делах как ключевая нация, город на холме. Собственно, сам Трамп и есть воплощение антипросветительских идей. Особенно это было заметно, когда он попал под влияние Стива Бэннона, который открыто цитировал безумных европейских фашистов начала ХХ века, противопоставляя себя идеям Просвещения. Большинство идей Трампа, которые то и дело прослеживаются в его комментариях — отказ от международного сотрудничества, протекционизм в противовес международной торговле, находятся в глубоком противоречии с идеями Просвещения.

Выборы Трампа пришлись на время написания этой книги, и я думал, что мы стали свидетелями самой крупной контратаки антипросветительских сил, чем я когда-либо рассчитывал увидеть в ходе нашей истории. Не то чтобы я был шокирован, понимая, что Запад или США никогда полностью так и не приняли идеи Просвещения. Всегда существовали противоречия между идеями Просвещения и антипросвещения, но я должен признать,

что не ожидал избрания Трампа президентом и столь уверенной победы сил, которые противостоят просвещению.

А.Ч.: Отголоски контратаки антипросвещения, следствием которой стала победа Трампа, мы наблюдаем в разных частях Европы, Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии и всего мира. Стоит ли так сильно переживать по этому поводу? Насколько серьезна угроза и долгосрочен тренд? Или же это ряд случайных событий, небольшое отклонение от исторического курса?

С.П.: Я бы рассматривал это как пограничное состояние между отклонением и регрессом. То, что авторитарные популистские лидеры одержали верх в ряде стран, включая США, действительно вызывает беспокойство, потому что может повлечь реальные деструктивные процессы. Ядерная война — самый очевидный пример, но кроме того происходит коррозия системы международных норм, которые должны способствовать уменьшению военных потенциалов; это атака на демократию и другие угрозы, которые всем нам неплохо известны. В долгосрочной траектории одна из сил, которая тянет нас назад, — это следствие демографического кризиса. Авторитарный популизм намного популярнее среди людей пожилого возраста, чем среди молодых. В книге есть график, отражающий поддержку Трампа, европейского популизма и Брексита, все три кривые имеют форму обрыва. Эти линии показывают, что молодежь не вдохновлена популизмом, в отличие от многочисленного послевоенного поколения «Беби-бумеров» и Молчаливого поколения (1925-1945).

Это одна из причин, которая позволяет рассчитывать, что в долгосрочной перспективе популизм не станет реальностью будущего. К тому же мы не можем не видеть, что процесс либерали-

зации идет во всем мире как минимум последние 50 лет. По отчетам Исследований жизненных ценностей населения легко проследить, что каждое последующее поколение толерантнее предыдущего. Этот процесс неравномерный, но охватывает всю планету. Вне сомнений, Восточная Европа либеральнее Ближнего Востока или Западной Африки, но эта волна «подняла все лодки во время прилива», поэтому те, кому за двадцать, даже в арабском мире куда либеральнее среднего шведа в условном 1960 году, как бы странно это ни казалось. Эта сила движима общим финансовым благополучием, образованием, современными средствами коммуникации, мобильностью, и обратить вспять все, что двигало космополитизм, за ночь не получится. В общем и целом молодые люди — более коммуникабельные, более образованные — не станут уже в ряды дремучего расизма и национализма, как их предшественники.

А. Ч. Не думаете ли вы, что люди могут измениться? Например, когда миллениалам (поколениям, родившимся в 1980-х — нулевых годах. — *Прим. ред.*) исполнится 75, не начнут ли они жаловаться на приток иммигрантов?

С.П.: Есть старая пословица: если ты не социалист в 25, у тебя нет сердца, а если ты все еще социалист в 55, у тебя нет ума. У этого изречения нет автора, его приписывают многим, но, похоже, оно не отвечает действительности, особенно если мы внимательно разберемся в демографических аспектах человеческого поведения. Не обязательно с возрастом люди становятся более консервативными. Скорее всего, они несут ценности через всю жизнь; поколения с одними ценностями приходят на смену поколениям с другими ценностями, что и изменяет человечество.

CONTENTS

SEMINAR	
The Future of the Past Dmitry Gorin Nihalan Fanlas	4
Nikolay Epplee	נ
Discussion	Č
"It is bad if a silly man is believed to be clever": Revolution of the Sophists and the Death of Socrates Andrei Zakharov	Ć
THEME OF THE ISSUE	
Three European Crises: Economic Crisis, Security Crisis, Political Crisis and The Role of the Law Miguel Azpitarte Sánchez Miguel Beltrán de Felipe	1
CHALLENGES AND THREATS	
"The End of History" Revisited	
Michael Mertes	2
REFORMATION AND DEMOCRACY	
The Roots of Democratic Life from Luther's Ethics John Vikström	C
CIVIL SOCIETY	
Civic Education in the Context of Human History	
Alexander Sogomonov 8.	Ĵ
A VIEWPOINT	
On Universalism Edward Skidelsky Lord Robert Skidelsky	3
Discussion	
Making Europe More Citizens-Oriented Natalie Nougayrede	
Discussion	
12.	_
OUR NEIGHBOURS	
Igor Zlotnikov: «A World understood as the world of isolated countries is ended»	1

IN MEMORIAM	
In memory of Richard Pipes Serguei Moshkin	145
Concluding Thoughts Richard Pipes	147
BOOKS Liberalism and War Andrei Zakharov	148
No News is Good News Steve Coll	150
Counterpoint Vladimir Ryzhkov	152
NOTA BENE	
Is the world getting better? Steven Pinker	163

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Главная тема:

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ: ВЫЗОВЫ, КРИЗИС И ПУТИ ВЫХОДА

Наши авторы:

Карл Бильдт
Татьяна Ворожейкина
Александр Гессель
Леонид Гозман
Александр Даниэль
Андрей Захаров
Василий Жарков
Алексей Кара-Мурза
Глеб Павловский
Владимир Рыжков
Мигель А. Санчес
Максим Трудолюбов
Мигель Б. де Фелипе

Подписано в печать 6.08.2018. Формат $70\times108/16$. Усл.-печ. л. 10,75. Тираж 500 экз. Заказ №

Школа гражданского просвещения 107031 Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 1 http://www.civiceducation.ru

ISBN 978-5-93895-117-4